

первая
среди
лучших

Татьяна УСТИНОВА



Большое зло
и мелкие пакости

Татьяна Витальевна Устинова
Большое зло и мелкие пакости
Серия «Татьяна Устинова.
Первая среди лучших»

*Текст предоставлен издательством «ЭКСМО»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=121021*

*Татьяна Устинова. Большое зло и мелкие пакости: ЭКСМО; Москва;
2003
ISBN 5-04-010280-1*

Аннотация

Министр по делам печати и информации Потапов решил поехать на вечер бывших выпускников неожиданно для себя. Просто рано освободился. Он пожалел о своем идиотском порыве сразу, как только в школе поднялся переполох вокруг его особы. После вечера он вышел на школьный двор следом за Марусей Сурковой, у которой когда-то списывал. И тут раздался хлопок, и Маня упала. Потапов подхватил ее из лужи крови и, не слыша криков охранника, повез в Склифосовского. Он был уверен, что пуля предназначалась ему. Странно, но кто мог знать, что он поедет в школу? Вот и следователь считает, что покушались именно на Марусю. Только кому она нужна?

Татьяна Витальевна Устинова

Большое зло и мелкие пакости

*«Самый верный способ получить ответ – это
задать вопрос».*

Ирландская поговорка

Толпа, высыпавшая на школьный двор и разом заполнившая его, была довольно многочисленной. Бывшие выпускники еще что-то договаривали друг другу, курили и хохотали. Жидкий свет уличных фонарей разгонял темноту только с середины асфальтового пятачка, на котором толпился народ, а за чахлыми кустиками живой изгороди, которую с маниакальным упорством пыталась вырастить бессменная «ботаничка», колыхалась плотная мартовская темень. Школа сверху донизу сияла непривычными для этого часа огнями, но они не разгоняли, а уплотняли окружающую тьму.

Можно работать. Никто ничего не заметит.

Пистолет лежал в ладони легко и удобно. Кожа чувствовала привычные шероховатости металла, и это было как бы знаком того, что работа будет сделана хорошо.

Еще секунд сорок. Пусть с крыльца спустятся все, кто там

застрял. Чем больше народу, тем лучше, удобнее.

У ворот много машин. Это тоже неплохо. Декорации должны быть как можно более значительными, тогда они отвлекают на себя внимание, и само действие уже мало кого интересует.

Водитель «Мерседеса», который был припаркован ближе всех, запустил двигатель, очевидно, заметив хозяина.

Значит, осталось совсем немного.

Раз. Два. Три...

– Ну что? Ты уезжаешь или остаешься?

– Как остаешься? А что, кто-нибудь остается?

– Ну конечно! Только что договаривались в бар пойти, посидеть еще немного. Время-то...

– Ребята, ну что мы решили?

– Дин, ты с нами или уезжаешь?

– Я даже не знаю, я домой собиралась...

– Вовка, а ты?

– А Димка Лазаренко где?.. Он тоже вроде собирался!

... шесть, семь, восемь...

До десяти.

Помешал резкий неучтенный в плане операции звук.

За спиной затормозила машина, хлопнула дверь, и пришлось оглянуться, чтобы посмотреть, что происходит.

Ширококозая и кургузая «Тойота» остановилась прямо посреди проезжей части. Пассажирская дверь распахнулась, из нее деловито выбирался мальчишка. Кто-то руководил им

с водительской стороны, из-за машины не было видно, кто именно.

– Федор, не беги через дорогу! Сначала посмотри! Не спеши, ты слышишь меня или нет?!

– Да я ее уже вижу!

– Где?

– Вон она! Мама! Ма-ам!

– Федор, я здесь!

Так. Этого не должно быть. Никаких детей тут быть не должно. Сейчас он побежит, и вся работа сорвется, а второго такого случая может не представиться.

Сейчас.

Пистолет как будто потяжелел в руке. И стал очень горячим. – Так что, ребята? Кто куда идет?

– Да мы вот собираемся...

– Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое за то, что вы нашли время...

Выстрел был почти неслышен – резкий хлопок, и только. Расчет был правильный. Никто ничего не понял. И все-таки в последний момент помешал этот чертов мальчишка. Рука дрогнула, не подчиняясь.

– Ма-ам!

Толпа внезапно как-то странно шарахнулась, подалась куда-то, и в ее сердцевине начал закручиваться вопль. И в этот вопль, как в центр смерча, стало затягивать все – смех, говор, урчание двигателей, припадочные моргания фонаря на

столбе... И от «Мерседеса» уже кто-то бежал, на ходу доставая пистолет, и вопль перерос в визг, и люди бросились врассыпную, как при бомбежке.

Только одна скрюченная фигура осталась на освещенном асфальтовом пяточке.

Вокруг нее растекалась черная лужа, и ей некуда и незачем было бежать.

Коридор все сужался, и стены наваливались, мешая дышать. Пыльная и сухая труба, по которой скользила рука, становилась все горячее, и страшно было, что в темноте рука может наткнуться на что-то еще, кроме этой трубы, но невозможно было убрать руку, оторваться от горячей металлической твердости. Тогда не осталось бы ничего, что пока еще сдерживало панику, скрученную в тугую и колкую спираль где-то ниже горла. Если дать ей развернуться, она выхлестнет наружу, ударит, проткнет насквозь, и тогда – все.

Конец.

Нужно дойти. Осталось совсем немного.

Нет. Это вранье. Никто не знает, много ли еще осталось, но выхода нет, все равно нужно дойти.

А если уже некуда идти? А если стены надвинутся так, что придется ползти, задевая черепом за каменный потолок, а потом уже будет не выбраться? И кончится воздух, и жаркая темнота вползет в голову, в легкие и пожрет то прохладное и свободное, что там еще осталось?! А осталось там совсем

немного.

Возвращаться нельзя. И нельзя посмотреть назад.

Пот тек по лбу, скатывался за воротник и противно высыхал за ухом.

Нет. Не дойти. Стены все ближе, воздуха все меньше, труба все горячее, волосы скользят по близкому душному толку.

Сейчас ударит развернувшаяся спираль паники, и тогда – все.

Зачем, зачем?! Как все бессмысленно, и как все глупо!

Плечи одновременно коснулись стен, трясущаяся рука внезапно нащупала что-то странное, явно не металлическое, высохшее, но бывшее когда-то живым, как скальп индейца, и паника наконец ударила.

Крик сгустился из черной духоты, а вовсе не был порождением измученных горящих легких. Крик толкнулся в уши, проткнул их насквозь, ворвался в мозг и затопил его до краев.

Какое-то время крик существовал как будто сам по себе, снаружи, а потом он оборвался.

И тогда стало еще страшнее.

За три часа до происшествия

– И чего тебя туда несет? – Алина качала ногой, облитой черной тканью колготок. Нога была хороша. Колготки – «Омса, серия велюр» – тоже ничего. Офисная юбка – все как

полагается, английский кашемир до середины колена – на этот раз была легкомысленно задрана и открывала ровную, розовую даже под чернилами колготок гладкость Алининого бедра. Время от времени, стряхивая пепел с невиданной тонкости пахитоски, Алина с удовольствием посматривала на собственную качающуюся ногу.

– Ну что ты там будешь делать? Встреча одноклассников! За каким чертом они тебе сдались, эти одноклассники! Чего ты там не видала?!

Маруся укладывала волосы феном перед раздвижным трехстворчатым зеркалом и от нетерпения мотала головой, отцепляя от волос постоянно путавшуюся в них щетку. Из одежды на ней были только трусы, а все остальное еще предстояло найти, напялить, оценить, одобрить или отвергнуть.

Нелегкая задача. Особенно когда «до бала» осталось двадцать минут. Впрочем, все как всегда.

– Лучше дай мне лак, – Маруся накрутила на щетку очередную прядь и решила, что ее хорошо бы обильно полить лаком. По задумке прядь должна была изящно спадать, или, как это называла Алина, «струиться», со лба на висок, и потому ей отводилась особая роль и, соответственно, требовалась особая форма.

Пошарив рукой и что-то с грохотом свалив с утлого столика, Алина сунула в ладонь подруге холодный длинный баллон.

– На. Подавись своим лаком. Я бы ни за что не пошла.

– Ты и не идешь, – сообщила Маруся резонно.

– А ты зачем идешь?

Маруся зажала баллон между колен и проворно схватила с подставки фен.

Алина пилила ее всю неделю. Как только узнала, что она собирается на «встречу друзей», так принялась ее пилить усердно и методично, день за днем. Маруся вздыхала и отмалчивалась, по опыту зная, что такая тактика единственно верная. Если начать Алине возражать – хлопот не оберешься. И главное, все равно все останутся при своем мнении.

– Алин, я сто лет нигде не была, а тут вполне законный повод. Встреча выпускников.

– Ну да, – согласилась та и с силой смяла в пепельнице остатки своей невиданной пахитоски, – повод. Не я ль тебя, душеньку, приглашала на прошлой неделе на презентацию этих... как они... ну, которые мебель продают... как же... Впрочем, хрен с ними. У них все как у людей было, в «Мариотте», с хорошей едой, с певцами и певицами, с увеселениями, с развозом! Что ж ты не пошла?

– Алин, ну в какой еще «Мариотт» я пойду людей смешить! У меня один выходной костюм. Я его в девяносто шестом году купила на рынке в ЦСКА.

– Мы его вместе купили, – буркнула Алина и, соскочив со стола, подошла и взяла у Маруси фен, – стой, не вертись, я тебе чуть-чуть поправлю...

– Ма-ам! – прогудел из соседней комнаты Федор. – Мам,

ты не знаешь, где мой английский?

– В кухне на подоконнике, – тут же отрапортовала Маруся. – Если ты будешь по всему дому разбрасывать свои вещи, я...

– Знаю, знаю, – сообщил Федор уже из коридора, – ты все соберешь и выбросишь в мусорное ведро. Только я все равно и из ведра достану.

– А ты что, математику уже сделал?

– Да-а...

– Что-то я сомневаюсь. Алин...

– Ну конечно, – перебила подруга, накручивая на щетку следующую прядь, – первый раз, что ли!.. Математику проверим, английский согласуем, новые слова выпишем, старые повторим и только после этого станем в дурака играть!

– А может, сначала в дурака, а потом английский согласуем? – спросил Федор лукаво и сунул в дверь круглую башку.

Федору на днях стукнуло девять. Он был очень самостоятельным, несколько рассеянным мальчиком, обладал превосходным чувством юмора и учился на одни пятерки. Во-первых, потому, что это было легко, а во-вторых, потому, что ему нравилось доставлять удовольствие матери.

– Брысь! – шикнула на Федора Алина. – Не нервируй родительницу, а то она сейчас вообще никуда не пойдет, останется с нами английский учить.

– Нет уж, пусть идет! – перепугался Федор за дверью, и они засмеялись.

Алина выключила фен и стала осторожно и продуманно распределять по Марусиной голове только что сформированные пряди. Услышав, что в соседней комнате Федор, вздыхав, придвинул стул к столу, она попросила жалобно:

– Мань, я тебя умоляю, ты хоть с ним не разговаривай, что ли!.. Хотя, может, его вовсе и не будет.

Жалобный тон совершенно не шел ей, как будто она по ошибке нацепила одежду с чужого плеча, но Маруся была благодарна ей за заботу.

– Ну, конечно, может, и не будет, – проговорила она успокаивающе, – что ты сама извелась и меня извела?! Я же не ради него иду! Все давно прошло, мне даже не интересно, будет он там или не будет.

– Я знаю! – возразила Алина, возвращаясь к прежнему энергичному тону. – Я все знаю, дорогая! Конечно, ты идешь не из-за него, но как только его увидишь, сразу сиганешь в какой-нибудь угол и там до конца вечера протрясешься. А я потом тебя буду коньяком отпаивать.

– Не хочу слушать никаких твоих выдумок, – сказала Маруся холодно, и Алина посмотрела на нее с жалостью.

Десять лет назад, на таком же вечере Маруся Суркова встречалась с бывшим одноклассником Димочкой Лазаренко. Как водится, «после долгой разлуки».

«Разлука» длилась пять лет, прошедших после окончания школы, и за эти пять лет Маруся ни про какого Димочку ни разу не вспомнила. Почему-то на этой встрече Димочке при-

шло в голову, что скальп Маруси Сурковой, бывшей отличницы, тихони и даже не синего, а «серого чулка», отлично украсит его коллекцию женских скальпов, собранную за солидную донжуанскую практику.

Скальп занял почетное место в галерее на удивление скоро, Лазаренко и сам не ожидал, что добыча окажется такой легкой и... не слишком интересной. Охотнику не пришлось часами лежать в засаде, вздрагивать при виде чуть шелхнувшейся ветки, с замиранием сердца рассматривать еще не заветренные следы у сердитой горной речки – глупая «серая зайчиха» доверчиво выскочила из леса прямо на сверкающее начищенной сталью дуло.

Димочку такие легкие победы не занимали. Несколько дней он забавлялся тем, что наблюдал, как дикий зверь становится все более ручным, домашним и милым, как начинает тереться головой о подставленную руку, как преданно заглядывает в глаза, ожидая похвалы и ласки, как валится в траву, подставляя беззащитный живот, как приучается выполнять команды, а потом ему все это надоело, и он зверя застрелил.

Просто взял и застрелил, равнодушно глядя в преданные умильные янтарные глаза.

Если бы не Федор, доставшийся Марусе от Димочки, вряд ли она пришла бы в себя так скоро. А может, и вообще не пришла бы.

Если бы не Федор, который должен был родиться, и не

лучшая подруга Алина.

С тех пор прошло десять лет.

За эти десять лет Маруся иногда видела Димочку, но он никогда не видел Марусю, и ее лучшей подруге Алине очень хотелось, чтобы все оставалось по-прежнему. Она отнюдь не разделяла неожиданно взыгравшее в Марусе желание ворошить прошлое, и даже боялась его.

Зачем ей понадобилась эта дурацкая встреча с одноклассниками?! Что за интерес встречаться с какими-то чужими, полужнакомыми, неинтересными людьми? Ладно бы еще нужда заставляла, а так, по собственной воле?! Сама Алина назад никогда не оглядывалась, в воспоминаниях не ковырялась и выражение «жить прошлым» ненавидела.

– Ты юбку погладила, мать?

– Вчера еще. Вон на кресле висит.

– Ты что, наденешь эту юбку?!

Маруся усмехнулась.

– Алин, у меня все равно другой нет. Вернее, остальные еще хуже. А на ту, в которой на работу хожу, я третьего дня кофе пролила и до химчистки еще не доехала.

– Как хочешь, – сказала Алина решительно, – но в этой идти нельзя.

У нее были свои, отличные от Марусиных, понятия о жизни и о том, в чем можно, а в чем нельзя идти на светский раут, коим ей представлялась встреча с одноклассниками. Маруся ее за это не осуждала.

Они дружили... сколько же?... лет двадцать, наверное, и столько же лет расходились во взглядах на окружающую действительность. Их дружбе это нисколько не мешало, вопреки научным представлениям о невозможности «женской дружбы» вообще и о дружбе двух столь разных особей женского пола, как Алина и Маруся, в частности.

Алина окончила очень престижный, блатной и еще черт знает какой Институт международных отношений и процветала в должности генеральной директорши рекламного агентства.

Маруся пять лет уныло тянула лямку в МАИ, еле-еле дотянув до диплома, ни дня по специальности не работала и вполне удовлетворилась ролью секретарши при большом начальнике. Начальник был редкостный хам и самодур, но выбора у Маруси не было. Ей нужно было добывать пропитание себе и Федору, а на Алинины предложения о трудоустройстве под ее начало Маруся не соглашалась. Работать кое-как она не умела, а проводить в офисе по двадцать часов, как Алина, не могла. Из-за Федора.

– Мань, не трясись ты головой, ей-богу! Мало того, что юбка – дерьмо, будет еще на голове овин!

– Да ладно, уже все нормально. Хватит. И опаздываю я!

– Ничего, опоздаешь. На такие мероприятия приходиться вовремя неприлично.

– Это у вас там, в верхах, приходиться вовремя неприлично, а в наших низах только вовремя и приходиться. Опоздаешь,

все без тебя съедят и выпьют...

Алина засмеялась и дернула Марусю за волосы.

– Не переживай. Мы с Федором что-нибудь организуем. В смысле съесть и выпить.

– Алин, – сказала Маруся серьезно, – спасибо тебе, конечно, но ты его все же в «Седьмой континент» не таскай. Он же еще не понимает ничего. Мне потом ему объяснять разницу в нашем материальном положении – себе дороже...

– Все он понимает, – буркнула Алина и пустила в Марусину голову длинную струю лака.

Она как раз собиралась повезти Федора в этот дурацкий «Седьмой континент». Федор любил мороженое с орехами, и тоненькие копченые колбаски, и свежие огурцы, и огромные красные яблоки, а ей нравилось доставлять ему удовольствие. В конце концов, у них был один ребенок на двоих, и это именно она десять лет назад не разрешила Марусе сделать аборт. Иначе не было бы сейчас никакого Федора...

– Готово! – объявила Алина, недовольная собственными мыслями, и отступила на шаг, чтобы полюбоваться на преображенную Марусину голову, – можешь напяливать свою суперюбку!

Маруся была уже в дверях, когда подруга крикнула из кухни:

– Мы за тобой заедем! Во сколько там все заканчивается? В девять, как в детском саду?!

– Вроде в девять, – пропыхтела Маруся. Она завязывала

ботинки, и говорить ей было неудобно. – Спасибо, Алин! Только в «Седьмой континент» вы все равно...

– Ладно-ладно, – появляясь в дверях, сказала та. В руке у нее была морковка. – Все ясно, не надрывайся.

Маруся посмотрела на нее и вздохнула. Ей было совершенно ясно, что подруга все сделает по-своему, включая заезд в этот чертов «Седьмой континент».

– Так мы тебя заберем! – крикнула Алина ей вслед, когда она уже сбегала по лестнице, и эхо ее голоса отразилось от влажных подъездных стен и, как мяч, поскакало впереди Маруси. – Ты в случае чего нас подожди!..

– Ладно! – Маруся, навалившись, распахнула тяжеленную подъездную дверь. Ветер взметнул «особую» прядь так, как будто она вовсе не была особой, и Маруся поняла, что все старания пошли прахом. Ну, если еще не пошли, то к моменту появления в школе обязательно пойдут – на улице было сыро и ветрено.

Вот, черт побери, везение!.. Когда она уходила с работы, было тихо, ни дождя, ни ветра. А лучшая подруга Алина отродясь не знала, какое на дворе время года – в ее машине климатические условия всегда были одинаково прекрасными, и она, формируя Марусину прическу, ветер и дождь не учитывала. Жалко, что в кармане плаща нет никакого паке-тика, приготовленного для хлеба. Его вполне можно было бы пристроить на голову, а при подходе к школе снять.

Перед ее мысленным взором моментально появилась она

сама с целлофановым пакетом на голове, и Маруся громко захохотала, напугав какого-то смиренного дяденьку, тащившего огромную сумку, из которой свисали перья зеленого лука. Дяденька дико на нее взглянул и переметнулся на другую сторону тротуара. Наверное, решил, что Маруся имеет виды на его сумку с луком.

Да ладно. Черт с ней, с прической. Конечно, жалко Алиных усилий, а больше ничего не жалко. Что с прической, что без прически – один черт: Маруся Суркова была и осталась неинтересной серой мышью, сторбившейся на задней парте.

Серый чулок. Отличница.

Моль облезлая, так ее дразнили классе в шестом, наверное. К десятому сжалились и дразнить перестали, но к этому времени Маруся уже сама была совершенно твердо уверена, что она «облезлая моль» и «серая мышь». Непонятно, помешала ей в жизни именно эта уверенность или помешало что-то совсем другое, но как-то ничего у нее не складывалось так, как хотелось в юности.

В далекой юности, когда ее дразнили «облезлой молью» и «серой мышью».

Человек на противоположном тротуаре замедлил шаг и пропустил ее вперед. Сумка мешала ему, и было очень непривычно держать в руках что-то объемное и неудобное, да еще эти луковые перья!..

В местной школе сегодня торжественный вечер. Она тоже

направляется туда. Поспешает. Бережет прическу. И шлейф заморских духов летит за ней в сыром и плотном воздухе. Он уже встретил не одну такую поспешающую барышню, пока таскался с этой идиотской сумкой вокруг этой идиотской школы.

Сегодня у всех были дела поблизости от школы. И у него тоже.

Не удержавшись, он сунул руку в недра влажного и холодного сумочного нейлона, под луковые перья, и нащупал удобно и плотно лежащее вороненое тело пистолета. Под курткой пистолет ему мешал. В сумке ему тоже не место, но он потом его поудобнее переложит.

Неизвестно, как все остальные, а он свое сегодняшнее дело обязательно сделает.

Один выстрел. Только и всего.

- Смотри, смотри – неужели это Потапов приехал?!
- Где?! Где Потапов?!
- Да тише ты, не ори!
- Да вон смотри! Ты что, не узнаешь его?!
- А мне тоже говорили, что он будет, но я даже...
- Он же ни разу не приезжал за все пятнадцать лет!..
- А зачем ему приезжать, на тебя посмотреть, что ли?
- Да тихо, говорю же!.. Неприлично, вы что, не понимаете?!
- Да ладно, можно подумать, что он нас слышит! Ему до

нас и дела-то никакого нет!

– Ему, может, и нет, а охране есть! Вон косится!.. Моментально в морду даст!

Потапов слышал, как охранник за его спиной тихонько хмыкнул. Такие диалоги-монологи, а также более широкоформатные обсуждения – с тем или иным отклонением от услышанного текста они выслушивали регулярно.

У Совета Федерации. У родного министерства. В концертном зале «Россия», когда Потапов посещал «Песню года». Сам бы он никогда в жизни туда не пошел, но его матери хотелось...

– Возвращайся в машину, – сказал Потапов охраннику, – говорил же я, нечего со мной таскаться!..

– Положено, Дмитрий Юрьевич, – пробормотал из-за его плеча охранник.

Уходить в машину ему не хотелось. Что там делать в этой машине! Три часа кряду кроссворды разгадывать? От радио уже башка трещит, и от кроссвордов в глазах темно. Развлечений никаких. И министр какой-то чудной – за руль норовит сам сесть, охрану все время по домам отправляет. Никакого уважения к статусу. Вот прежний министр был!.. Тот... да. Тот посерьезней был начальник. В его присутствии даже сидеть нельзя было. А этот... Что за начальник! Так, мелюзга какая-то.

Впрочем, охрана относилась к Потапову неплохо. Он не слишком их загружал, вернее, совсем не загружал, всегда от-

пускал, если они отпрашивались «по делам», по ночам почти никогда не шлся, если застревал в ресторанах и на банкетах, предупреждал или вообще отправлял по домам, хоть это было и «не положено».

Потапов поднялся на школьное крыльцо – жидкая толпа курящих разом повернула головы в его сторону, и разговоры все смолкли, и глаза загорелись, и, словно ветерок, потянулась с той стороны тоненькая, но весьма осязаемая струйка любопытства.

Ох-хо-хо...

Именно за это Потапов ненавидел свою работу.

Он был растиражирован «средствами массовой информации» до такой степени, что подчас не знал, где он сам, настоящий Потапов, а где выдуманный этими самыми растреклятыми «средствами». Да еще охрана, доставшаяся ему в наследство от его предшественника, по слухам, человека строгого, но справедливого, вполне осознающего два своих места – место под солнцем и место в истории родной державы!

Потапов свое место в истории пока не осознавал и смутно подозревал, что не осознает никогда, по крайней мере в такой степени, когда требовалась личная охрана, два сменных шофера, отдельная буфетчица с отдельными бутербродами, отдельная дорога на отдельную дачу за отдельным забором и так далее.

Не то чтобы Потапов был воинствующий демократ или член секты по борьбе с привилегиями, просто у него име-

лись в наличии... здоровый смысл и чувство юмора, нахально вылезавшее как раз в тот момент, когда он был уже почти готов осознать это самое собственное место в истории. Чувство юмора мешало его осознанию, и оно опять откладывалось на неопределенный срок.

Потапов неприязненно покосился на смолкшую толпу, не зная, то ли ему здороваться, то ли не здороваться – знакомых лиц он там пока не видел.

Господи, зачем его понесло в эту школу, на эту «встречу друзей»? Дел на работе особенных не было, сидел бы сейчас на даче, пил пиво и телевизор смотрел! Или к родителям бы съездил! И Зоя должна звонить. Она уже дома и, наверное, гадает, где он сейчас, ее драгоценный Потапов, какие важные государственные вопросы решает...

– Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, – неестественным голосом поздоровался с ним кто-то из толпы.

– Здравствуйте, – буркнул он. Охранник распахнул перед ним облезлую школьную дверь.

Это еще школьное начальство не знает, что приехал «сам Потапов». Сейчас узнает, будет Потапову веселье. До конца жизни хватит воспоминаний.

Всю неделю в его приемную звонили дамы из комитета, занятого подготовкой этой никому не нужной встречи. Он так понял, что это какие-то его бывшие одноклассницы. Фамилий он не знал, да они, наверное, сто раз поменялись, эти фамилии. Помощник Анатолий Николаевич несколько

раз спрашивал шефа, готовиться им к мероприятию или нет, а Потапов все тянул и мямлил, и помощник решил в конце концов, что шеф не поедет. Дмитрий и сам не знал, что на него нашло, почему ему захотелось поехать. Помощник был не в курсе его ностальгических переживаний, и потому к мероприятию не приготовились. Торжественной встречи с представителями районной администрации, первоклассниками, цветами, неизменным шатким микрофоном и коричневой трибуной в актовом зале не планировалось.

Сейчас все будет. И микрофон, и трибуна, и тетки из районной администрации.

Потапов с тоской оглянулся на охранника. Может, назад повернуть, пока не поздно? К телевизору, холодильнику с пивом и Зое?

Охранник поймал его взгляд и, кажется, обо всем догадался. Он был неглупый, молодой, отлично выученный и привыкший к обществу «сильных мира сего». Ему были хорошо знакомы их начальственные эмоции и переживания, он отлично умел их классифицировать и сейчас совершенно безошибочно определил, что шефу маятно и неловко и до смерти охота все отменить.

Ну так и что же? За чем дело стало?

Он так придержал перед Потаповым вторую дверь – из холодного тамбура в теплое школьное нутро, – что было непонятно, то ли он пропускает его вперед, то ли, наоборот, готов выскочить следом за ним обратно на улицу.

От позорного бегства Потапова удержала только мысль о жидкой толпе на крыльце, которая, как только он скрылся за первой дверью, загомонила, захохотала, зашевелилась, и он выловил из общего шума несколько раз повторившуюся собственную фамилию.

Не пойдет он обратно. Конечно, ему нет до них никакого дела, но все же обратно он не пойдет. Не маленький.

Ему было лет десять, когда однажды на горке его закидали снежками. Отец научил его лепить и кидать снежки – очень метко. Наивный десятилетний Дима притащился на горку вместе со своими облезлыми санками и сразу затесался в толпу чужих мальчишек, которые бросались снежками. Потапов тоже стал бросаться – и несколько раз попал. Почему они на него ополчились, было непонятно, наверное, именно потому, что он оказался самым метким, только очень быстро он очутился один под лавиной жестких ледяных комьев, которые летели ему в голову, в живот, в лицо, за шиворот. Он даже дышать не мог, не то что сопротивляться, хотя поначалу ему было весело, и он бодро бросал снежки в ответ. Потом ему уже не было весело, и стало очень больно, и неизвестно откуда взявшиеся слезы булькали почему-то в животе, грозя перелиться через край и затопить горло и глаза, а этого гордый Потапов допустить никак не мог. Мальчишки быстро вошли во вкус и швыряли куски льда и снега прямо ему в лицо, стоя всего в двух шагах, и Дима понял, что нужно бежать, спастись, но бежать ему не позволяла гордость.

С работы шел отец, увидал пропадавшего ни за грош сына и моментально спас его, разогнав осатаневших мальчишек.

«Ты что, Митька?! – сильно прижав его к куртке, спросил отец. Куртка снаружи была очень холодной и славно пахла отцом и морозом. Потаповские слезы тонкой слюдяной пленкой застывали на ней. – Ты разве не понимаешь, что это уже никакая не игра, а просто... издевательство какое-то? Что это за игра, когда все на одного?! Зачем ты в нее ввязался, ты же разумный человек, а не безмозглое чучело! И доблести в этом никакой нет, только глупость одна!»

Потапов плакал – перед отцом не стыдно, перед отцом вполне можно и поплакать, – утирал мокрые горящие расцарапанные щеки колкой от растаявшего снега варежкой, очень жалел себя, и любил папу, и остро ненавидел врагов, с которыми так и не справился.

С тех самых пор он остерегался толпы и раз и навсегда усвоил, что силы противника вполне могут быть превосходящими.

Вряд ли те, на крыльце, могли чем-то ему помешать или... навредить, но еще раз проходить мимо них, тем более спасаясь бегством, Потапов не желал.

Он решительно шагнул в школьную раздевалку, сощурился от внезапно упавшего, как с неба, очень яркого света и сказал охраннику:

– Саша, я же сказал, чтобы ты в машину возвращался. И не делай такое лицо, я здесь долго не пробуду. Ну, съездите

с Пашей в «Макдоналдс». Денег дать?

Он всегда отправлял их поесть, за что и охранники и водители его очень ценили.

– Не могу, Дмитрий Юрьевич, – с сожалением ответил охранник. Поесть ему очень хотелось, да и пока ездили бы, время прошло, – объект незнакомый, люди чужие, черт знает... – Не поедем мы никуда. И в машину я не вернусь.

Потапов вздохнул, уже понимая, что от охранника ему не отвязаться.

– Ладно, Саша. Только ты того... служебное рвение особенно не демонстрируй. Все-таки я здесь учился когда-то и директриса, по-моему, еще старая...

Охранник кивнул и с некоторым высокомерием посмотрел в кашемировую потаповскую спину.

Надо же, какой нежный! «Директриса, по-моему, еще старая»! И есть ему дело до этой самой директрисы! Он кто? Он большой человек, министр, по слухам – а слухи, которые бродят от водителей к охранникам и обратно, гораздо вернее, чем те, которые бродят от Чубайса с Вяхиревым к Сванидзе с Киселевым, – скоро вице-премьером станет, если нигде не лопухнется. Конечно, и вице-премьерский век недолог, но зато сладок, ох как сладок, это охранник Саша точно знал, а этот малахольный о какой-то там директрисе печется! Да она должна непременно в курином обмороке пребывать, если только ей уже сообщили, что у подъезда школы стоит «Мерседес» «самого Потапова»!

Дмитрию Юрьевичу удалось беспрепятственно дойти примерно до середины вестибюля, когда наперерез ему бросилась какая-то смутно знакомая тетенька в прозрачной кофточке с бантами на шее и оборками на груди, животе и плечах. На голове у нее были локоны, а в руках громадная коленкоровая папка.

Потапов содрогнулся.

– Здравствуйте! Вы наш выпускник? В каком году вы окончили школу и кто был ваш классный руководитель? Вы раньше посещали подобные вечера или сегодня приехали в первый раз? Вы общаетесь с кем-то из бывших одноклассников или дружбу ни с кем так и не сохранили?

Безостановочно выстреливая в него вопросами, она одновременно шарила глазами по потаповской физиономии и заглядывала в свою гигантскую папку, как будто черпала вопросы оттуда. Глаза у нее были живые, горячие, черные, и смутное воспоминание в голове у Потапова неожиданно оформилось, выступило из тумана и приобрело совершенно конкретные очертания.

– Тамар, – перебил ее Потапов, – это ты, что ли?

Тетенька перестала выстреливать свои вопросы и всмотрелась в него с некоторым недоверием.

– Это я, – сказала она почти нормальным голосом, – а вы кто?

– А я Митя Потапов, – сообщил он, смутно радуясь тому, что хотя бы один человек не узнал его с первого взгляда, –

мы с Кузей на литературе прямо за вами сидели. Ты всегда Кузе давала списывать, а Суркова мне. Ты что, не помнишь?

Тетенька, бывшая раньше Тамарой Бориной, быстро вздохнула, от чего все ее банты и оборки совершили волнообразное движение, еще раз взгляделась в него и вдруг ойкнула на весь вестибюль так, что на них оглянулись все, не посвященные в то, что среди них «сам Потапов», и прикрыла рот ладошкой, как будто опасаясь, что не справится с собой и завизжит.

Потапов растерялся. Он не ожидал такой... чересчур живой реакции. И охранник за плечом нервировал его ужасно.

– Ми... Ми-тя? – по слогам переспросила бывшая Тамара. – Ми... тя Потапов?

– Ну да. Ты же ведь Тамара, правильно? Тамара Борина.

– Я... не Борина, – заикаясь, пролепетала тетка, очевидно, плохо понимая, о чем именно она говорит, – я теперь Селезнева, а раньше была Уварова... – она оглянулась по сторонам, как бы ища поддержки и опоры в привычном окружающем мире, и наткнулась на насмешливый взгляд потаповского охранника. На охранника она уставилась почему-то с ужасом.

Потапов тоже оглянулся, чтобы посмотреть, что именно вызвало в ней такой небывалый эмоциональный подъем.

Ничего особенного он не увидел. Только охранника Сашу, за плечом которого открывался школьный вестибюль, залитый беспощадным электрическим светом и выкрашенный в

скамеечный темно-голубой цвет. Сиротские зеркала без рам отражали лица и спины учеников, пришедших на «встречу друзей». Их было на удивление много. Потапов был уверен, что на эту самую встречу, кроме него, идиота, явятся еще два-три таких же придурка и классная руководительница Калерия Яковлевна. Но в зеркалах отражалось великое множество народу, и он вспомнил, какую бурю пришлось пережить школе, прежде чем директриса приняла решение повесить эти зеркала.

«Какие еще зеркала в школе?! Что вы хотите там рассматривать?! Вы приходите сюда за знаниями, а вовсе не за тем, чтобы любоваться на себя в зеркало! Или вы собираетесь перед ним красоту наводить?! Так здесь школа, а не салон красоты!»

«А почему тогда в учительской зеркало есть?! – кричал комсорг Вовка Сидорин. – Почему учителям можно красоту наводить, а нам нет?!» Потапов помалкивал. Его зеркала в вестибюле не слишком интересовали. Он читал Хемингуэя и весь был в той войне, в тех страданиях, смертях и любви.

– Господи, – пробормотала рядом Тамара Селезнева, бывшая Борова, бывшая Уварова, – Митя Потапов... это... ты?

– Я, – согласился Потапов, которому надоел этот разговор, – а ты не видела никого из... наших?

Он не слишком понимал, что имеет в виду под словом «наши» – одноклассников, наверное, – но ему хотелось поскорее отойти от Тамары Боровой-Уваровой-Селезневой – а

просто так бросить ее ему было почему-то неловко.

– Разрешите ваше пальто, Дмитрий Юрьевич, – сказал из-за его плеча охранник, которого эта тетка развлекала, и он решил поддать пару.

– А? – переспросил Потапов и оглянулся. – А, да, конечно...

Он непочтительно выбрался из черного кашемира и кое-как сунул его Саше в руки.

– Все наши здесь, – пробормотала Тамара и неожиданно залилась краской, – мы вас никак не ждали, Дмитрий Юрьевич... Нам сказали, что вы не сможете быть на нашем вечере, и мы вас не ждали... Мы даже не подготовились... Как же это вы... приехали?

– Взял и приехал, – ответил он довольно грубо.

Почему-то ему не понравилось, что Тамара стала называть его на «вы». Он не на банкете в «Балчуге» и не на приеме в английском посольстве. Он же ясно объяснил ей, что сидел за ней на литературе, и Кузя списывал у нее, а сам Потапов у Сурковой. Интересно, Суркова стала такой же душой, как эта?

Впрочем, наверное, и эта самая Тамара тоже не дура. Просто на нее такое впечатление производит нынешнее потаповское положение. Оно на всех производит одинаковое впечатление.

– Маргарита Степанна, Александр Андреич! – вдруг заголосила рядом с ним Тамара. – К нам приехал Дмитрий Юрье-

вич! К нам приехал Дмитрий Юрьевич Потапов!

«К нам приехал, к нам приехал Сергей Сергеич дорогой!» – уныло вспомнил Потапов фразу из величальной песни.

Хотел простых человеческих радостей, Сергей Сергеич, дорогой? На воспоминания тебя потянуло? «Школьные годы чудесные! С книжками, с чем-то там, с песнями»? Вот получи! Что теперь морду воротить! Поздно.

Лучше бы с крыльца развернулся и уехал. Ей-богу.

Со всех сторон к ним теперь лезли любопытные, и изда- лека приближался бессменный завуч Александр Андреич, и откуда-то должна была вынырнуть Маргарита Степанна, да еще о Калерии Яковлевне он позабыл, а она наверняка тоже была где-то поблизости.

– Сюда, сюда, – хлопотала оказавшаяся к нему ближе всех Тамара, – проходите, Дмитрий Юрьевич, пропустите нас, пожалуйста! А с кем это вы? Ах, это ваша охрана! Проходите, проходите! Видите, как много у нас сегодня народу, все откликнулись на призыв нашего комитета, а мы еще сомневались, стоило ли затевать все это! А ваша супруга не приедет? Нет?

Она стрекотала теперь, как из пулемета, и оглядывалась на толпу, теснившую их, и глаза у нее были дикие и восторженные.

Последний раз, поклялся себе Потапов, последний раз поддался всяким бредовым ностальгическим идеям. Первый

и последний. Лучше бы к родителям съездил. Или на Российское телевидение. Давно бы надо, а он все тянет, все не знает, что именно станет там говорить, идиот!

Охранник, довольный таким неожиданным и сокрушительным успехом шефа, посапывал у плеча, и Потапов был совершенно уверен, что он думает, будто шеф все эти китайские церемонии затеял специально – для того чтобы выглядеть высокопоставленным и знаменитым, но простым и скромным. Конечно, профессионал в охраннике настойчиво шептал, что из толпы лучше бы выбраться поскорее, тем более площадка не подготавливалась и не разрабатывалась, и он ничего не знает – ни где двери и окна, ни как попасть на лестницу или к черному ходу, но Саша не особенно слушал свой внутренний профессиональный голос.

Вряд ли кто-то из бывших учеников этой районной московской школы сейчас бросится на шефа с ножом или стволом. Тем более шеф вовсе и не собирался сюда ехать. Да и не нужен он никому, по правде говоря...

Охранник не знал, что человек с пистолетом, надежно уложенным под луковыми перьями, уже пришел на заранее выбранное место и основательно приготовился к работе.

Маруся сидела очень неудобно – в середине актового зала, за чьей-то могучей спиной. Ей совсем ничего не было видно, кроме коричневого пиджачного плеча Мити Потапова, который в самом начале вечера был с такой помпой помещен

в президиум, что Марусе стало смешно. Слева и справа от него примостилось высшее школьное начальство, а где-то в середине вечера подгрело еще и районное, очевидно, оповещенное школьным о том, что у них на вечере присутствует Дмитрий Потапов. Как его там?... Иванович? Юрьевич? Районное начальство было встречено вконец потерявшейся от обилия высшей власти директрисой с подобострастными поклонами и приседаниями. Седенькие, кое-как завитые волосы у нее на макушке мелко дрожали. Марусе было ее жалко.

Бедная, бедная... Как пить дать, сделается у нее вечером гипертонический криз, и будет она принимать валокордин и капотен и жаловаться своему глухому мужу, что на нее в один вечер навалилось все сразу – выпускники, районо, федеральный министр – «сам Потапов»! – префект, супрефект, и прочая, и прочая, и прочая, как писалось раньше в царских манифестах.

Кроме суеты вокруг министра, из-за которой никто из выступавших не мог и двух слов толково связать, Марусю очень занимал вопрос присутствия Димочки Лазаренко.

Зря она изображала перед Алиной наплевательское лихое равнодушие.

Да, да, прошло много лет. Да, их больше ничего не связывает. Да и тогда, наверное, их тоже почти ничего не связывало, кроме Димочкиного непонятного желания занять Марусю в качестве боевого трофея и ее обморочной в него влюбленности.

Все правильно.

Только все равно она потащилась на этот вечер, чтобы посмотреть на него. Просто посмотреть. Вспомнить мужчину, с которым когда-то ей было так... необыкновенно. Нет, наверное, не самого мужчину – что там его вспоминать! – а то состояние души, которое она пережила с ним и больше не переживала никогда.

О, это было потрясающее, раз и навсегда изменившее всю ее жизнь и перевернувшее душу состояние. Господи, сколько всего намешано было в том, что в книжках и фильмах называлось затасканным словом «любовь». До Димочки Маруся тоже с легкостью произносила это слово, не придавая никакого значения его смыслу. То есть как и во все на свете, она вкладывала в это слово вполне обычный житейский смысл и не знала, не ведала, глупая, самоуверенная девчонка, в каком огне ей предстоит сгореть!

Поэтому Маруся вертелась в середине своего ряда, закрытая чьей-то могучей спиной, пытаясь определить, приехал Димочка или не приехал, так что в конце концов какая-то бывшая выпускница, сидевшая слева, больно ткнула ее локтем в бок.

– Спокойно нельзя посидеть? – прошипела она. – Слушать невозможно!

Слушать было, собственно, и нечего, но Маруся покорно притихла.

Слово предоставили Дмитрию Потапову, который оказал-

ся все-таки Юрьевичем, а не Ивановичем. Он быстро произнес какую-то довольно дружелюбную и связную ахиною, удивив Марусю, считавшую, что все как один государственные деятели его уровня косноязычны от природы. Однако Потапов со своей короткой речью справился просто блестяще. В нужных местах зал похохотал, потом грустно и сентиментально притих, а потом, как положено, разразился «бурными и продолжительными».

Маруся тоже похлопала.

Молодец Потапов. В люди выбился, говорит хорошо, выглядит приятно. Брюхо не отрастил, волосы не все растерял, научился носить костюмы и галстуки, охранника за плечом совершенно не замечает, как будто его там и нет, и на ритуальные танцы вокруг себя начальников рангом пониже, кажется, не слишком обращает внимание.

Хорошо бы с ним поговорить, все-таки много лет подряд он списывал у нее литературу, а она у него – алгебру и английский. Английский Потапову давался так легко, как никому из их класса, а Марусе в самых кошмарных снах до сих пор снились эти проклятые времена «паст перфект» и «герундий».

Впрочем, что зря мечтать. Вряд ли ей дадут с ним поговорить. Как только кончится действо и начнется застолье, кто-нибудь из местного начальства под ручку утащит его в «отдельный кабинет», или он сам удалится в «Мерседес», который Маруся видела у школьного крыльца, со скучающим,

несколько утомленным, но вполне благожелательным видом, как и положено начальнику его уровня, посетившему такое ничтожное мероприятие, чтобы отдать дань милым детским воспоминаниям.

А жаль. Маруся могла бы попроситься к нему на работу.

Ей вдруг стало так неловко, что она покраснела и оглянулась на сердитую соседку слева – не услышала ли она как-нибудь крамольных Марусиных мыслей.

Что это пришло ей в голову! Наверное, не только директрисе, но и ей, Марусе, придется на ночь тяпнуть чего-нибудь успокоительного! Что за ерунда! К Потапову теперь нельзя даже просто подойти, не говоря уж о том, чтобы просить об одолжении! Случайно получилось так, что когда-то они были знакомы, и теперь она вполне может похвастаться в компании, что лично знает «самого Потапова», но «сам Потапов» нынче вряд ли захочет даже плюнуть в ее сторону!..

И все-таки жаль. Вдруг это был бы ее шанс?

Маруся Суркова всегда старалась использовать все возможности до конца. Ради Федора и его спокойной жизни она готова была не только кинуться в ноги ставшему совсем чужим и взрослым бывшему однокласснику Потапову, она могла бы землю копать. Или бревна таскать. Да все что угодно.

А на работе у Маруси все было... не слишком хорошо, и это напрямую угрожало благополучию Федора и ее собственному. Вспомнив об этом, она внезапно перестала слышать

и видеть, и ей стало все равно, приехал Димочка Лазаренко или нет.

Она не может потерять работу. Они не выживут, если она потеряет работу. Даже двух месяцев без работы она не протянет.

А начальник, между прочим, с каждым днем становился все холоднее и холоднее, и как-то странно морщился в ее присутствии, и что-то все отворачивался, и распоряжения отдавал напряженным высоким голосом, что – Маруся знала – являлось признаком высшей степени недовольства.

Она очень старалась. Она работала быстро и безупречно. Она выполняла его указания еще до того, как он договаривал их до конца. Она не обращала внимания на его хамство, раздражительность и перепады настроения. Она изо всех сил пыталась облегчить и организовать его работу как-нибудь так, чтобы эта работа хоть как-то делалась, поскольку он сам, личность высокого творческого полета, считал, что работать вовсе не должен, что он исключительно хорош уж тем, что просто существует на свете – в этой должности, в этом кабинете, среди богатой мебели, в окружении евроотремонтированных стен, изящных настольных безделушек, которые ему привозили со всего мира, среди люстр, искусственных и живых цветов, глухих дорогих ковров – всего этого нового блеска, появившегося так недавно и моментально вытеснившего из высоких кабинетов былую начальственную канцелярщину.

Маруся работала не за страх, а за совесть, не позволяя себе ни лишнего слова, ни необдуманного жеста, и была совершенно уверена, что еще немного – месяц, два, – и он ее уволит.

Жаль, что не придется поговорить с Потаповым. Терять ей все равно нечего, а он много лет списывал у нее литературу. Впрочем, она тоже много лет списывала у него английский.

Маруся усмехнулась, возвращаясь обратно – из тревожных, нервных и лихорадочных дум о работе в школьный актовый зал, где уже заканчивалась торжественная часть, и от стусившейся парфюмерной духоты начинала побаливать голова, где в задних рядах уже умеренно шумели подуставшие от речей бывшие ученики, мечтая поскорее приступить к банкету, а седенькие завитки на макушке у директрисы тряслись все заметнее и заметнее.

Может, он и не приехал. Может, его не нашли, когда обзванивали выпускников восемьдесят пятого года. Или он не захотел приехать. Или не смог. Напрасно она мучилась бессонницей, и выслушивала Алинины колкости, и не проверила сегодня английский у Федора, потратив все время на изобретение какой-то необыкновенной прически. Он не приехал. Ну и черт с ним.

Пробежали хлипкие аплодисменты. Директриса все еще что-то говорила в микрофон, а по всему залу уже вставали с мест, хлопали по карманам в поисках сигарет, махали друг другу, и префект – а может, супрефект – в президиу-

ме уже крепко взял под руку Потапова, намереваясь вести его в «отдельный кабинет». Маруся тяжело вздохнула и поднялась с места, ругая себя за то, что потащила на этот вечер, и только время потеряла, и теперь чувствует себя так, как будто ей публично надавали по щекам. Соседка слева, стремясь поскорее выбраться из ряда цепляющих за колготки школьных стульев, уже вовсю на нее наседала, Маруся повернулась, чтобы идти, и нос к носу столкнулась с Димочкой Лазаренко.

Всю торжественную часть он просидел за Маней Сурковой. Маня понятия не имела, что он сидит прямо за ее спиной и слышит каждый ее вздох и видит каждое ее движение, и это его забавляло.

Когда-то он с ней спал, и она даже доставляла ему удовольствие. Такая была... свеженькая, глупенькая, неиспорченная совсем, как героиня фильма про деревню семидесятых. Дура, конечно, но тогда ему не было никакого дела до ее умственных способностей. Его привлекала ее свежесть, «подлинность», как он назвал бы это сейчас. Тогда, десять лет назад, это слово еще не было в таком ходу.

Как все изменилось за эти десять лет!

Из ученика художественного училища Димочка превратился в процветающего художника. Издательства наперебой заказывают ему иллюстрации, и гонорары вовсе не так уж скудны, и собственная мастерская уже не кажется пределом

мечтаний, и на тусовках восторженные барышни от искусства провожают его горящими взглядами, и он принимает эти взгляды как должное, потому что знает – он хорош, молод, довольно известен, и со временем станет еще известнее, его картины покупают уже сейчас, и тот самый небольшой заказ от мэрии он выполнил просто блестяще, и совсем недавно его показали в крошечной программке на Третьем канале, посвященной столичной светской жизни. Программка была кем надо замечена, оценена, взята на учет, как и заказ от мэрии, и многое другое.

Успехи были налицо.

Правда, его немножко смущало, что тот самый заказ он получил через отца, на выставку в Манеж две его картины определил дядя Вася, друг семьи, бывший главный архитектор столицы, а программку на Третьем канале делала продвинутая дочь другого старинного отцовского приятеля, редактора какого-то литературного журнала.

Отец тоже был художником.

Вернее, это Димочка был художником тоже. Всю жизнь его отец занимал начальственные посты в Союзе художников и в разнообразных комитетах, подкомитетах, комиссиях, подкомиссиях и президиумах – кажется, «подпрезидиумов» все же никогда не существовало. Отец был «широко известен в узких кругах», и Димочка некоторым образом шел не то что по проторенной, а, можно сказать, по хорошо асфальтированной дорожке, оборудованной фонарями и автозапра-

вочными станциями.

Это его смущало, да.

Лучше бы, конечно, все сделать самому. Лучше бы, конечно, он был «самородок» из глухой провинции, пришедший перевернуть мир, заставить планету искусства сойти с орбиты и начать вращаться в каком-то совсем другом направлении, чтобы штурмом взять столичных снобов, зажавшихся и давно оторвавшихся от истинных ценностей, но...

Но получилось так, что он сам и был этим столичным снобом.

Ну и что? Ему не пришлось никому ничего доказывать, и работать до кровавых мозолей тоже не пришлось, и голодать в нетопленых съемных развалюхах, экономя деньги на дорогие краски и холсты. Все это чрезвычайно романтично, конечно, но Димочка вполне понимал, что лучше так, как есть.

Пусть он не просто художник, а художник тоже. И нет никакой принципиальной разницы, откуда выплыл тот самый заказ от мэрии, самое главное, что он был. Ведь был? Был. И будет еще не один, в этом Димочка совершенно уверен. И иллюстрации его нисколько не хуже, чем у других. Может быть и... не лучше, но ведь и не хуже.

Все в его жизни было хорошо и правильно, и, если бы не ошибка, допущенная недавно, он был бы совершенно спокоен и счастлив, разглядывал бы тощую шейку дуры Сурковой и чувствовал бы себя гордым и уверенным победителем.

Да. Ошибка.

И как это он?.. Нет, ничего такого, он во всем разберется, ему только нужно время. Совсем немного времени, и он все уладит. Дернул его черт тогда! Следовало бы все проверить хорошенько и получше замести следы, а он понадеялся на свое обычное везение, и напрасно.

Самое главное, что она узнала об этом. Даже не сама ошибка, а именно то, что об этом знала она, тревожило его ужасно. Так, что в переполненном и душном школьном зале он вдруг почувствовал, как по спине холодным ужом прополз омерзительный влажный страх. Прополз от шеи вниз и замер где-то над брючным ремнем, на позвоночнике.

Никакой ты не гордый победитель, так прошипел ему этот страх, неизвестно как материализовавшийся еще и в голове, и рептилия на позвоночнике шевельнулась.

Никаких ошибок ты не совершал. Ты совершил преступление и будешь за него отвечать.

Отвечать, отвечать...

Ты слабый и хлипкий, зарвавшийся мальчишка. Чтобы не отвечать, тебе придется совершить еще одно преступление, и ты вполне к нему готов. И время тебе нужно вовсе не для того, чтобы «разобраться с ошибкой», а для того, чтобы как следует подготовиться ко второму действию. Ружье, висевшее на стене в первом акте, уже выстрелило. Ты сам выстрелил из него и теперь только изображаешь, что видишь его впервые. Во втором действии тебе придется стрелять снова, а дальше – посмотрим. Тобой ведь очень легко управлять,

ты слишком любишь, чтобы в твоей жизни все было хорошо и правильно, чтобы всякие безмозглые серые мыши, вроде Маруси Сурковой, стадами паслись неподалеку от твоего царственного львиного ложа, трепеща и выжидая, которую ты предпочтешь на этот раз, и млели от восторга, и, как загипнотизированные, сами шли прямо в пасть...

Димочка дрогнул всем своим хорошо ухоженным, стройным и длинным телом – он всегда очень внимательно и придирчиво следил за ним, выбирал для него наряды и подходящие диеты, холил, пестовал и вполне заслуженно гордился, – подтянул безупречную складку на брюках и положил ногу на ногу, чего старался никогда не делать, считая это дурным тоном.

На сцене что-то говорил бывший одноклассник Потапов, почтивший своим высочайшим присутствием скромный школьный праздник. В другое время Димочка с удовольствием возобновил бы знакомство, тем более они с Потаповым явно выделялись на общем фоне серых посредственностей и полунеудачников, в которых превратились все одноклассники, даже подававшие самые большие надежды. Как раз Потапов никаких надежд в школе, помнится, не подавал, и семья у него была так себе: отец инженер, а мать то ли врач, то ли акушерка в роддоме. Димочка, наоборот, цену себе всегда знал, и дружбы с Потаповым никогда не водил, и, как выяснилось, напрасно.

Впрочем, еще не поздно. Дмитрий Лазаренко – человек

известный, даже можно сказать, популярный, и Потапов, если он только не остался прежним дураком и хамом пролетарского происхождения, оценит Димочкино желание как-то... объединиться перед унылой, недалекой и серой толпой.

Обретая в этих приятных думах прежнюю уверенность в себе, Димочка наткнулся взглядом на шею Мани Сурковой, которая так вертелась на своем стуле, как будто сидела на муравейнике.

Что-то там было неприятное, в истории их бурного романа. Что-то неприятное, тяжелое, отвратительное, как последнее объяснение.

Ах, да. Ребенок.

Она забеременела и решила, что Димочка возжелает немедленно стать отцом. Она ни за что не соглашалась делать аборт, потому что, видите ли, хотела ребенка. Все было как в кино: он подлец, она святая, только Димочка, в отличие от киношных героев, виноватым себя совершенно не чувствовал и был уверен, что и двадцать, и тридцать, и сорок лет спустя ему будет совершенно наплевать на этого ребенка, каким бы он ни был. Его существование или несуществование не имело к нему никакого отношения и было ему неинтересно.

Тогда на прощанье Лазаренко поцеловал ее в макушку, потрепал по персиковой, «подлинной», не обезображенной никакой косметикой щечке, и больше никогда ее не видел.

Может, она даже и родила тогда сдуру, кто ее знает. Се-

кунду он думал, не стоит ли ее спросить, когда кончится эта всем надоевшая волынка с речами и приветствиями, и решил, что спрашивать не станет. Еще ударится в воспоминания, слезы и сопли, что он тогда будет с ней делать?

Кроме того, он должен выполнить то, ради чего, собственно, и пришел сюда.

Он старался не думать об этом, задвигая мысли в самый темный угол сознания, и знал, что, когда ему все же придется заглянуть туда, он увидит все ту же отвратительную до дрожи рептилию страха.

Если бы она не узнала, у него было бы время все исправить. Он просто-напросто сделал ошибку. Он не хотел ничего дурного, он просто сделал ужасную ошибку и готов...

Нет.

Дмитрий Лазаренко, успешный, известный, талантливый, не может, не должен так унижаться. Он сделает все, как ему велели, а потом придумает что-нибудь, выйдет из-под ее контроля, не даст манипулировать собой только из-за того, что она узнала о его ошибке. Он всегда отлично находил выход из любого положения, виртуозно придумывал всякие ходы и точно знал, что нужно делать, чтобы выйти сухим из воды.

«Это не мои сигареты, мама! Ты что, мне не веришь?! Ты с ума сошла, разве я стал бы курить?! Я не брал никаких денег! Мама, мне нужно работать, а отец пристал с какими-то деньгами! А бабушка пусть купит другие очки, если ей кажется, что она видела меня среди бела дня на „Пушке“! Я

ездил к литераторше в Марьину Рошу! Ну приехал в полдвенадцатого! Мне ведь нужно к экзаменам готовиться, вот я и...»

По совершенно непонятной для Димочки причине и родители, и бабушка верили ему безгранично и абсолютно. И в один прекрасный день он решил, что и сочинять ему совершенно незачем, достаточно просто послать их подальше, чтобы не приставали. Черт их знает – то ли они на самом деле были так непробиваемо тупы, то ли им слишком хотелось верить своему мальчику, то ли недосуг было проверять его слова, но доверять ему они не перестали. Это окончательно разрушило Димочкино к ним уважение, зато многократно облегчило ему жизнь. С годами он стал относиться к ним снисходительнее: все-таки родственники, можно сказать, «родная кровь», да и пользы от них больше, чем вреда, – заказ от мэрии, две картины в Манеже, а также мамины борщи и свеженькие денежные купюры, смущенно сунутые в Димочкин карман!

Надо им позвонить или даже навеститься, что ли! Правда, бабка опять пристанет с разговорами о том, что нужно «жить для других, а не только для себя», а также, что «в наше время работать ради денег считалось позорным!».

Позорным или не позорным, но бабка всю жизнь прожила с зятем, Димочкиным отцом, который только и делал, что работал ради денег, и она отлично пользовалась и этими позорными денежками, и его положением.

Принципиальная и непримиримая партиячейка, навеваясь к бабке, всегда заседала в просторной и теплой гостиной, за круглым, орехового дерева столом, который когда-то сработал вечно пьяный самородок, пролетарий-краснодеревщик дядя Юра. Чай подавала домработница Люся. У нее был кружевной передничек и полные белые руки. Английский фарфор партиячке не полагался, поэтому пили из лубочных гжельских кружек, и ванильный кексик Люсиного изготовления отсвечивал желтым сытным краем на расписной тарелочке, и белый хлеб дышал в просторной плетенке, и докторская, тоже вполне пролетарская, колбаска прилагалась к этому хлебу... Партиячейка любила обсудить свои насущные дела по обращению человечества в истинную марксистскую веру именно за этим столом, что юного Димочку чрезвычайно забавляло. Кажется, они до сих пор приходят, эти полоумные старики и старухи.

Он вновь шевельнулся на стуле и услышал, как отчетливо хрустнул в нагрудном кармане рубахи сложенный вчетверо листочек с инструкциями. Лазаренко показалось, что грянул гром и сверкнула молния, что этот хруст услышали все, и все поняли, что он больше не тот Димочка Лазаренко, удачливый, успешный, великосветский и тонкий, а самый обыкновенный пошлый преступник, которому предстоит, обливаясь холодным трусливым потом, продолжить то, что он начал так бездарно.

Он справится. Он обязательно справится. Он выполнит

то, что она хочет.

А там посмотрим, кто кого!..

Евгений Петрович Первушин пришел на вечер одним из последних. Прямо перед ним на школьный порожек взбежала запыхавшаяся Маруся Суркова, которая всегда и везде опаздывала, и вихрем промчалась прямо в раздевалку, на ходу стаскивая умеренно модное пальтецо.

Даже в зеркало на себя не взглянула. Даже по сторонам не посмотрела, как делали все, кто входил в залитый беспощадным светом и выкрашенный в голубой исподний цвет школьный вестибюль. Впрочем, Суркова всегда была со странностями и вечно делала что-то не так. Ведь именно за этим бывшие ученики сюда и шли – людей посмотреть, себя показать, точно установить, кто лучше, кто хуже. Кто «состоялся», а кто – нет. Кто совсем плох, а кто и несказанно хорош, вроде сегодняшнего главного лица – Потапова.

Надо же, как все сложилось!

Казалось бы – Потапов! Ну что он из себя представлял? Да ничего он из себя никогда не представлял! Серая посредственность, закопавшаяся в английских глаголах.

В шестом классе родители зачем-то отдали его на теннис, и он стал ходить с ракеткой. Ракеточка у него была самая дерьмовенькая, в самодельном брезентовом чехле, на дне которого болтались еще советские сине-красные кеды на резиновом ходу. Потапов свою ракеточку обожал, таскал за собой

из класса в класс, или, как это называлось, из «кабинета» в «кабинет», в раздевалке не оставлял, все боялся, что у него сопрут такую драгоценность!

И «драгоценность», конечно, в один прекрасный день сперли. Прямо из «кабинета».

Евгений Петрович улыбнулся, рассматривая сидящего на сцене, такого важного нынче Потапова. Как он метался, ища свой безобразный брезентовый мешок! Как приставал ко всем – не видел ли его кто! Как бегал в туалет и лазил за все толчки, проверял, не там ли он! Как потом помчался в раздевалку и долго и бестолково тыкался в разные стороны, а мешок все не находился! В конце концов он ушел за школу, чтобы его никто не видел, и кулаком утирал слезы, слизняк лопоухий, и там его, зареванного, в соплях и горе, засекала первая красавица класса Динка Больц, в которую все были тогда влюблены, и Потапов тоже!

Наверное, эта ракетка в истлевшем брезентовом мешке до сих пор гниет там, куда ее засунул тогда Первушин – за пожарным щитом на стене макулатурного сарая. Женька засовывал, а Вовка Сидорин, комсорг, приплясывая от нетерпения, караулил за углом с осыпавшейся штукатуркой и выцарапанным сердцем с надписью «love».

Ах, молодость, молодость!..

Евгению Петровичу, как и всем его одноклассникам, в этом году должно было исполниться тридцать три, но он чувствовал себя умудренным жизнью старцем. Он чувствовал

себя таким лет с десяти, наверное.

Он никогда не был так отвратительно глуп, как большинство его приятелей. Он всегда совершенно точно знал, чего хочет, и отлично предвидел опасности, возможные последствия и обязательные неприятности. Все свои, даже вполне мальчишеские, предприятия он начинал и заканчивал в точном соответствии с собственным сценарием, и ему это нравилось. В отличие от всех остальных он никогда не боялся учителей и не считал их небожителями. Он изучал их слабости и отлично ими пользовался.

А что тут такого?

Раиса Ивановна обожала стенды и «наглядную работу», и Первушин был самым первым, кто вызывался рисовать схемы и диаграммы на плотных, с загибающимися внутрь концами, листах. Рисовать было трудно, листы норовили свернуться в трубку, но он рисовал самоотверженно, почти истошно, и Раиса Ивановна умилялась.

Ботаничка все время страдала от пыли, и Первушин драил ее кабинет с таким рвением и старанием, что она ласково трепала его по макушке.

Валентина Пална все время писала что-то на маленьких листочках. Это было ее главным удовольствием, и Женя спрашивал у отца заграничные записные книжки в упоительно пахнувших кожаных переплетах, с крошечными отрывными листочками и красными датами незнакомых праздников. Валентина Пална принимала подарочки и улыбалась.

Директриса, она же и литераторша, трепещущим от чувств голосом рассказывала про Павку Корчагина, и Первушин стал режиссером-постановщиком школьного спектакля по мотивам бессмертного произведения Николая Островского «Как закалялась сталь». На премьере директриса прослезилась. Ей, бедной, невдомек было, что Евгений давным-давно переименовал бессмертное произведение в нечто гораздо более приземленное. «Как получить медаль», так оно теперь называлось. Бедный Павка был переименован еще более изобретательно. До сих пор, вспоминая его прозвище, Евгений Петрович улыбался чуть смущенно.

Медаль Первушин получил легко. В институт тоже поступил легко, и не в какой-то там «тонкой химической технологии», а в самый что ни на есть лучший и престижный.

В Институт международных отношений он поступил.

Есть время разбрасывать камни, и есть время – собирать.

Маленький Первушин как-то прочел эту мудрость в английском романе. Роман повествовал о рыцарях, войнах, смертях и любви. Сам роман показался Евгению каким-то малоосмысленным, а выражение запомнилось. Главным образом потому, что тогда он так и не понял, в чем его глубокий смысл. Зачем сначала разбрасывать, а потом собирать?! И не знал, конечно, что это из Библии.

К семнадцати годам юный Евгений осознал эту мудрость в полной мере. Он был очень умен и предусмотрителен, кроме того, привык, что все давно и без возражений играют в

соответствии с его сценарием.

В соответствии с этим сценарием поступление в МГИМО было именно тем поворотом, за которым предстояло начать собирать камни.

Успех был налицо. Рельсы проложены, куда там бедному переименованному Павке! Карьера обеспечена, блестящая и прочная, как скафандр космонавта. Дальние страны только и ждут, когда Первушин доучится и сможет в них наведаться. Париж, Вашингтон, Мадрид, Буэнос-Айрес – соблазнительные, глянцевые, полные загадок, красивых женщин, упоительных приключений, – так ему представлялась будущая жизнь.

С третьего курса его выгнали. Приказ назывался «Об отчислении».

«Отчислить» – было сказано там, а Евгению показалось – «расстрелять».

Двадцатилетний Первушин совершенно растерялся. Он был уверен в своем знании жизни. Он управлял директрисой и Валентиной Палной, и даже девушкой Викой, и делал это виртуозно. Все они с разной степенью покладистости плясали под его дудку и были вполне предсказуемы. На третьем курсе МГИМО его «схавали» однокурсники, не приложив к этому почти никаких усилий.

Наверное, он представлялся им очень глупым. Очень глупым, и очень самоуверенным, и очень наивным. Впрочем, именно таким он и был. Он не учел главного – на факультете

те международных отношений учились по-настоящему тертые калачи. Даже нельзя сказать, что они учились. Они здесь пребывали, определенные сюда всеильными отцами. Отцы не могли сразу рассовать их по Лондонам и Вашингтонам, ибо даже всеильным папашам, чтобы пристроить чад, нужна была некая бумага, называвшаяся дипломом. Ни фактура, ни цвет, ни даже слова, напечатанные на этой бумаге, не имели никакого значения, но определять отпрысков в данное учебное заведение было старой доброй традицией, и всеильные отцы эту традицию не нарушали. Кроме того, их дети оказывались собраны в одном месте и в одно и то же время, следовательно, находились друг у друга на глазах и могли выбрать себе партнера «из своего круга».

Когда преподаватель по международному праву проводил переключку, казалось, что он зачитывает список членов Политбюро. Даже голос его становился похож на голос «товарища Левитана». Еще были дочери космонавтов, дочери знаменитых художников, дочери международных обозревателей и крупных режиссеров. Сыновей было меньше, но они тоже присутствовали.

Не иметь машины считалось почти так же неприлично, как прийти на лекцию в ботинках отечественного производства.

На каникулы ездили «к предкам», то есть за границу. Лучше всего, конечно, в «капстрану». Из «капстран» предпочтительнее всего были Штаты.

Видеомагнитофон – вещь неслыханная! – давно должен был «осточертеть».

«Мне осточертел видак и этот ваш „Гиннес“! Ты же знаешь, что я не люблю темное пиво!»

Разве мог угнаться за ними бедный Евгений, затесавшийся, как орловская ломовая лошадь, в табун чистокровных арабских скакунов!

Он попробовал поуправлять и ими.

Вадим Гриценко из-под полы приторговывал марихуаной, которую необходимо было курить в обществе длинноволосых стильных девиц, дочерей режиссеров и художников. Марихуану он привозил из Амстердама, где консульствовал его папаша, ее охотно и весело покупали, и Вадим процветал. Евгений по неопытности и малолетству решил, что он тоже вполне может приобщиться к скромному амстердамско-марихуанному бизнесу, хотя его собственный папаша нигде и никогда не консульствовал. В один прекрасный день Вадим Гриценко получил записку. В записке, в полном соответствии с классикой жанра, было написано, что если Вадим не станет делиться прибылью, то деканат немедленно будет поставлен в известность о его бизнесе, и консульский отдел МИД будет поставлен в известность, и комитет комсомола будет поставлен в известность, и папашкина карьера окажется под угрозой, и комсомольский билет самого Вадима тоже окажется под угрозой, а Вадим как раз собирался вступить в ряды КПСС. Без этого двери в вожаемые Лондоны и

Вашингтоны были не просто закрыты, а, можно сказать, заколочены наглухо. Не членам КПСС нечего было делать в Лондонах и Вашингтонах...

Евгений Петрович вздохнул.

Н-да...

До сих пор вспоминать об этом ему было тяжело.

Через неделю после написания этой злополучной записки на доске приказов в холле третьего этажа появилась бумажка «Об отчислении». Когда Евгений Петрович прочитал ее, ему показалось, что под ним провалился пол. Он долго падал в бездонную пропасть, и в ушах у него звенело, и шумело в голове, и было как-то знобко, как будто в жарком здании гуляет свирепая метель.

Он так и не выяснил, каким образом синдикат «Вадим Гриценко и компания» организовал его отчисление. Расследовать это по горячим следам он не мог – слишком малы были его возможности по сравнению с возможностями ребят, которыми он попытался управлять. Декан не стал с ним встречаться. Он просидел перед деканской, обитой дорогой черной кожей дверью полдня. «Я же вам говорю, что его не будет, – время от времени холодно повторяла лощеная секретарша, – и вопрос ваш он рассматривать не станет, даже если появится».

Вопрос!

Как будто речь шла о месте в общежитии, а не о кончине Первушина.

Тогда он был совершенно уверен, что это – конец.

Пришло время собирать разбросанные камни, но они – увы! – оказались совсем не такими, какими представлялись ему поначалу. Это были тяжеленные грязные валуны, а вовсе не кусочки солнечного янтаря, светящиеся на ладони...

Совершенно уничтоженный и ни на что не годный, Первушин вынужден был пойти в армию, откуда вернулся совершенно другим человеком. Теперь он ни за что не стал бы даже пытаться управлять марихуанно-амстердамским Вадимом. Теперь он не мог понять, как ему такое в голову пришло!...

Конечно, он восстановился в институте. Попробовали бы они не восстановить его, тем более в армии он вступил-таки в ряды КПСС и хоть в этом сравнился с ненавистным врагом! Встречаясь в коридорах с бывшими однокурсниками, ушедшими на три года вперед, Евгений отворачивался. Несмотря на всю его выдержку и теперешнее знание жизни, он не мог себя заставить здороваться с ними. Впрочем, нельзя сказать, что и кто-то из них выражал жгучее желание поприветствовать Первушина на его новом жизненном этапе.

Попозже он отыгрался. Или ему нравилось думать, что он отыгрался.

Грянула революция 91-го, и всеильные отцы перестали быть всеильными, по крайней мере некоторые из них. При определенной практической смекалке и хватке Лондоны и Вашингтоны стали доступны для всех, даже для выходцев

«из низов», каковым был Евгений Петрович. В отличие от большинства сыновей и дочерей, учившихся вместе с ним, Первушин умел и хотел работать. Хватка и смекалка тоже присутствовали.

Он с отличием окончил ненавистный институт, получил назначение и отбыл в Иран.

Не Женева, конечно, и не Париж, но все-таки и не Тамбов...

А потом, потом.... Потом была история, которая в очередной раз перевернула всю его жизнь, но об этом никак нельзя было думать.

Сегодня, как никогда, ему нужна трезвая и холодная голова. А кровь неизменно начинала стучать в висках Евгения Петровича, когда он вспоминал о той истории. Еще хуже ему становилось, когда он думал, что о ней теперь знает не только он.

Конечно, о ней всегда знали те, кто его нанимал. Как обычно, он сразу просчитал последствия и вполне отдавал себе отчет в том, что теперь есть люди, которые смогут управлять им самим, Евгением Петровичем Первушиным. Он знал это так же хорошо, как то, что Валентина Пална непременно поставит ему пятерку за импортные записные книжки во вкусно пахнущих кожаных обложках, а одноклассники в очередной раз сочтут его подлизой и подхалимом, но тогда игра стоила свеч.

Как и всегда.

Он не может проиграть и сегодня. Он непременно выигрывает. Он все проверил и просчитал все возможные последствия со свойственной ему занудной тщательностью. Он даже посмеивался над собой за это свое качество.

Он приготовился. Ему очень повезло, что приехал Потапов, который отвлек на себя внимание присутствующих.

Пусть его купается в лучах славы. Евгению Петровичу нет до него никакого дела. Чуть-чуть, самую малость, самолюбие грело воспоминание о том, как Потапов плакал за школой, а Динка Больц, увидев его, недоуменно пожала высокомерными плечиками. Это сейчас он такой уверенный и гордый, а тогда он утирал грязным кулаком щеки и выглядел тем, кем был на самом деле, – слабаком и идиотом.

Потапов не помешает Первушину. Ему никто и ничто не помешает.

Он все сделает так, как надо, как он делал всегда – безупречно и предельно четко, полностью сознавая последствия.

Он доведет дело до конца, или ему придется умереть.

Умирать Евгению Петровичу не хотелось.

Утром позвонил муж и холодно сказал, что не сможет поехать с ними в отпуск.

– Ты же обещал! – напомнила Дина, стараясь сдерживаться. – Ты обещал мне и Сереже.

– С Сережкой я сам поговорю, – ответил муж хмуро, –

мне надоела Австрия и вся эта тусовка. На лыжах я все равно не катаюсь, а целыми днями пиво пить – противно. Лучше я с ним куда-нибудь еще съезжу, а ты кати в свою Австрию, если тебе охота...

В этом было все дело.

Он не просто не хотел ехать в отпуск. Он не хотел ехать в отпуск с ней.

Положив трубку, Дина задумчиво рассматривала себя в зеркало.

Она давно объявила всем друзьям и подругам, что муж тащит ее в Австрию, ей не очень хочется, но отказаться она никак не может – судя по всему, он задумал романтическое путешествие, возвращение к прежним отношениям, так сказать, воссоединение любящих сердец после стольких лет...

Она уже все заказала – самолет, автомобиль, отель. Он должен был поехать. В конце концов, он всегда использовал любую возможность, чтобы побыть с сыном. Ему было совершенно все равно – Австрия, Швейцария или Мари-Эл.

На этот раз, когда его присутствие Дине было просто необходимо, ему под хвост попала шлея, и ехать он отказался.

Скотина.

Был шанс, что ей все-таки удастся его уговорить, но, позвонив ему после обеда, она поняла, что он решил окончательно и бесповоротно – не ехать!

Он не хочет изображать верного рыцаря Ланцелота перед стаей чужих людей. Надоело.

Хотя это не чужие люди, это лучшие друзья.

Это не его друзья, он их почти не знает, ему с ними совсем неинтересно, и... короче, он не поедет, и все!

Что-то не так, поняла Дина. Что-то с ним совсем не так, как обычно.

Она немного подумала, потом закрыла дверь в свой кабинет и позвонила мужниной секретарше Валентине Степановне. Через двадцать минут она в подробностях знала, что именно «не так».

Оказывается, он завел себе девицу. Он завел девицу, обхаживает ее, убажает, и вообще у него, кажется, серьезные намерения...

Намерения! Скотина! Дважды скотина! Трижды скотина!!!

Он должен был вернуться к ней, к Дине. Это была главная, самая патетическая, самая привлекательная часть ее широкоэкранной мелодрамы под названием «Личная жизнь звезды, или Вернись, я все прощу».

Господи, дернул ее черт тогда, семь лет назад, развестись с ним!.. Зачем она это сделала? Чем он ей мешал? Чего проще было придумать что-нибудь, вроде того, например, что «каждый из нас живет своей жизнью, но все-таки мы вместе»! И благородно, и ново, и вполне культурно, по-современному. Он бы на все согласился. Дину он обожал, а на ребенка надышаться не мог.

Тогда это обожание, и опасливые собачьи взгляды, и по-

стоянное нежелание выяснять отношения, и то, что он носился с горшками и погремушками вечно мятых и залитых то ли вареньем, то ли детскими поделками джинсах, Дину просто бесило. Разве так она представляла себе свою семейную жизнь? Разве таким должен быть ее муж, ее, первой красавицы детского сада, школы, а потом института?! В яслях она, наверное, тоже была самой красивой, но ясли ей не запомнились.

Разводились они тяжело и грязно. Он умолял ее не делать глупостей, плакал по ночам и чуть не валялся в ногах.

Тряпка, неврастеник.

Только чтобы он отвязался, она пообещала не препятствовать его свиданиям с сыном. Ей было все равно. Черт с ними, пусть будут свидания. Дину ждала не просто отличная, а блестящая партия, и такие мелочи, как студенческих времен муж в грязных джинсах, с запавшими глазами и вечной пачкой дешевых сигарет, выглядывающей из кармана мятой рубахи, казались ей просто досадным недоразумением, ошибкой молодости. И мама все время повторяла, что он не пара ее дочери.

Не пара, нет, не пара!..

Блестящая партия оказалась не такой уж блестящей. Блеску поубавилось после того, как открылось одно досадное обстоятельство. У «партии» имелись жена и двое очаровательных малюток. Жена и малютки постоянно проживали за какой-то далекой границей, чтобы не мешать папочке шалить.

Время от времени папочка наезжал, делал детишкам «козу», дарил очередной бриллиант супруге и отбывал в Москву, ковать свое трудное бизнесменское железо.

Всех такое положение дел устраивало, и никаких изменений в нем не предполагалось.

Ничего этого Дина не знала. Она была уверена в том, что ее ждет «блестящая партия». Ах, черт!..

Нет, она вовсе не была профессиональной женщиной на содержании. Она много и хорошо работала, отлично зарабатывала и добивалась всего собственным умом. Ну, или почти умом. В некоторых, особо сложных случаях, она использовала не только этот самый ум, но и сказочной красоты тело.

Все удавалось. Все получалось.

Кроме личной жизни.

С личной жизнью вышла просто беда. Добро бы просто не было следующей «блестящей партии». Дина, как чрезвычайно умная женщина, смирилась бы с этим и продолжала бы искать нечто достойное, но совершенно неожиданно – как удар под дых! – в эту категорию перешел ее бывший муж.

Ну да, тот самый, что в вечно мятых джинсах, залитых чем-то подозрительным, цвета «детской неожиданности». Который «не пара, нет, не пара».

Он сделал карьеру после того, как Дина ушла от него. Ей нравилось думать, что он достиг высот именно из-за того, что она его бросила. Страдания его были так глубоки и ужасны, что ему пришлось заняться хоть чем-нибудь, чтобы не

сойти с ума от горя.

Впрочем, это была официальная Динина версия, а как там на самом деле, она не знала.

Итак, он сделал карьеру. Она, идиотка, даже не сразу об этом узнала!

Однажды он позвонил и сказал, что забирает Сережку на две недели, поедет с ним в отпуск.

– В Мещеру? – зевая, спросила Дина. У ее мужа в этой растреклятой Мещере был дом, оставленный по наследству каким-то полоумным дядькой. Каждый год он возил туда сына на рыбалку.

– Нет, – ответил муж неохотно, – на Бали. Там хорошее место для серфинга. Сережка давно просится куда-нибудь, где можно научиться кататься на волнах. Ты только доверенность мне напиши.

Так как Дина молчала, он повторил погромче:

– Доверенность напишешь? И не в последний день, ладно? Бали?! Откуда взялся этот Бали?! И серфинг?! И о чем таком его давно просит их общий сын?!

Поначалу от изумления она даже не сообразила, у кого ей навести справки. Все общие знакомые и друзья остались в прошлой жизни, а в новой никого из окружения мужа она не знала. Подумав, она спросила сына.

– Ты что, мам, – удивился Сережка, – заболела?

И быстро выложил все, что знал. Его просто распирало от гордости и счастья.

Ее бывший муж разрабатывал и продавал компьютерные программы. Он начал с самых простых, дошел до каких-то необыкновенно сложных, сделался монополистом рынка, прикупил офис в центре, нанял сотрудников.

– У него даже журнал есть. «Компьютер лэнд» называется. Ты что, не знала? В школе все его читают. Клевый журнал, для нормальных ребят!

Нет, она не знала. Она как-то совсем выпустила из виду своего бывшего мужа.

Дина не спала три ночи, приняла несколько сложных решений и к концу недели поняла, что ей нужно немедленно выйти за него замуж опять.

На этот раз в отпуск Сережку провожала она сама, не доверив бабушке такое важное дело и пожертвовав для этого целым рабочим днем.

Ее бывший муж приехал на «СААБе» последней модели, и от одного взгляда на его чемоданы, джинсы, куртку, стрижку Дине стало не по себе. Неужели этот человек был когда-то ее мужем?!

Зачем она с ним развелась, дура?! И почему ни разу после развода – ни разу! – ей не пришло в голову хотя бы увидеться с ним?! Он приезжал, забирал ребенка, оставлял маме деньги на его содержание, кстати, не слишком много и оставлял! Дина в это время обычно была занята – работала или встречалась с очередным претендентом на роль «блестящей партии». Она все проглядела, все! А когда очухалась, ситуация

уже вышла из-под контроля.

Он почувствовал вкус свободы – не только личной, но и, как бы это выразиться, материальной. Теперь он ни от кого не зависел, делал любимое дело, за все отвечал сам, знал цену деньгам, которых неожиданно стало даже слишком много, и в лоно семьи возвращаться не спешил, хотя Дина и намекала. Несколько раз они съездили в отпуск вдвоем – образцовая семья с подросшим ребенком в первоклассном отеле, просто журнальная картинка! Дина вела себя очень умно, очень тактично. Дина была такой, какой он когда-то мечтал ее видеть. Она даже почитала его дикий компьютерный журнал, но говорить с ней о своей работе он отказывался, а когда она пыталась демонстрировать познания, смотрел как-то жалостливо. Она стала осторожно подталкивать Сережку, чтобы он воздействовал на отцовское сознание, но Сережка вырос без отца, и ему было вполне достаточно того общения, которое у них уже было, тем более муж никогда не жалел для него времени.

Она изменила тактику и стала постепенно приучать бывшего мужа к мысли, что они непременно должны пожениться вновь. Для этого она объявила всем своим друзьям, что тот давний развод был большой ошибкой, что он с ума сходит от любви к ней и что еще немного, и он, пожалуй, уговорит ее вернуться к нему. В подтверждение она несколько раз привезла его в Австрию, где вся ее компания каталась на горных лыжах и попивала горячий грог.

В компанию муж не вписался. Несмотря на деньги и нынешнее положение, светским человеком он так и не стал, легко и красиво говорить не умел, пить тоже не мог – от одной рюмки раскисал и уходил спать, что бы вокруг него ни происходило. И на лыжах он не катался. И понятия не имел, чем в этом сезоне следует увлекаться, поэтому и не увлекался.

Этот заезд в Австрию должен был стать последним и решительным. Дина сказала себе: «Сейчас или никогда» – и как следует подготовилась, и вот пожалуйста – он не едет! У него девица и серьезные намерения! А ей что прикажете делать с его серьезными намерениями?!

Хуже всего то, что на возвращение его в лоно семьи она потратила уйму времени и сил, решив, что это будет лучшим выходом из положения. Она перестала искать ту самую «блестящую партию», которая была ей так необходима, чтобы можно было со спокойным удовлетворением сказать себе, что жизнь удалась. Она была совершенно уверена, что он вернется – все-таки он очень сильно любил ее тогда, – и ошиблась.

Ошиблась?

В переполненном школьном зале было жарко и неудобные стулья все время грозили разорвать черные Динины колготки. Впервые в жизни ее раздражали восхищенные мужские взгляды – ей было не до них. Эти взгляды ее совершенно не интересовали. Она пришла только потому, что у нее было вполне определенное дело, которое она должна была обяза-

тельно сделать. Обычное дело, не слишком приятное, конечно, но и не слишком сложное. Она вполне справится с ним, и ей не придется потом специально искать время и место – все произойдет здесь, в этой обшарпанной дурацкой школе, в которой она когда-то училась.

Не только училась, но и блистала.

Чуть-чуть отпустив себя, Дина улыбнулась нежно и иронично. Как давно все это было!

Вон Потапов, который был так жалко, так страстно, так явно в нее влюблен. После торжественной части, которая уже надоела всем до ужаса, Дина непременно подойдет поздороваться с ним.

В конце концов, он теперь звезда первой величины, а Дина никогда не пропускала ни одной, даже призрачной возможности найти наконец «блестящую партию». В этом вопросе она всегда могла действовать в нескольких направлениях сразу, распределяя силы, как хороший полководец во время битвы.

Чем черт не шутит, вдруг этот самый вылезший на самый верх Потапов возьмет, да и влюбится в нее снова, бросит свою нынешнюю жену – так ведь бывает, бывает! – и никакой бывший муж Дине больше не понадобится никогда. Это происходит то и дело и у всех – нынешние мужья и жены становятся бывшими, и какие-то другие люди становятся новыми мужьями и женами...

Ее немножко смущало, что ее дело требовало опреде-

ленных усилий и... простора, а для того, чтобы предаться светлым воспоминаниям в компании Потапова, нужно было иметь спокойное и романтическое расположение духа. И еще время. А Дина не была вполне уверена, что она им располагает.

И все-таки обязательно нужно показаться ему. Улыбнуться. Дотронуться до руки. Дать почувствовать собственный запах, утонченный, горький и эротичный. Повспоминать. Ей даже в голову не приходило, что Потапов, возможно, и не захочет предаваться светлым воспоминаниям, тем более что и вспоминать особенно было нечего. То есть, может, и было, но Потапову эти воспоминания вряд ли будут приятны.

Вот, например, однажды он написал ей записку с какими-то стихами, а она показала эту записку Вовке Сидорину, который тоже был в нее влюблен, и Вовка поднял Потапова на смех.

В другой раз он пригласил ее на выставку – на выставку, черт побери все на свете! Вернисаж был в музее на Волхонке, и попасть туда было очень трудно. Дина согласилась, привела подруг, и они просто корчились от смеха, рассматривая с безопасного расстояния Потапова, который маялся у низенькой кованой решетки музея, держа красными от мороза руками какой-то немудрящий замерзающий букетик. Часов в пять, когда доступ посетителям был наконец закрыт, он понуро побрел к метро, все еще сжимая свой букетик, и тогда Дина выскочила из укрытия ему навстречу – так и бы-

ло задумано по сценарию. Она выскочила, что-то мило защепетала – она уже тогда отлично умела щепетать, затуманивая примитивные мужские мозги, – вытащила у Потапова из стиснутого кулака букетик и сунула его в ближайшую урну. Потапов проводил его глазами. Он ничего не сказал, то ли потому, что сильно замерз, то ли потому, что был ошеломлен и никак не мог справиться с обидой. Дине было все равно. Она продемонстрировала девчонкам безмолвного обожателя, и больше ее ничто не интересовало.

Впрочем, даже таким воспоминаниям Дина сумела бы придать приятную романтическую окраску, будь у нее время. Она смогла бы заинтересовать его, недаром она по-прежнему сказочно хороша, только теперь еще к ее красоте добавился жизненный опыт, придав ей еще больше шарма. Да к тому же он был в нее влюблен когда-то!

Итак, она непременно должна сделать так, чтобы Потапов ее увидел, а там посмотрим. Пусть для начала он ее просто увидит. Может быть, они поговорят, а потом Дина сделает свое неприятное, но очень нужное дело.

И с мужем придется что-то решать. С мужем и той, к которой он относится «с серьезными намерениями».

Дина Больц никогда ничем и ни с кем не делилась. Даже песок в детсадовской песочнице принадлежал ей целиком и полностью, когда ей приходила фантазия в нем поковыряться. Никто не смел трогать то, что ей принадлежало, или она думала, что принадлежит.

Сегодня она накажет человека, который посягнул на ее собственность. А завтра придет очередь мужа.

Сидорину очень хотелось курить. Ему хотелось курить уже давно, почти с самого начала вечера, но встать и выйти он стеснялся, хотя речи, которые произносили со сцены, были ему совсем не интересны. Пожалуй, только Потапов сказал что-то такое приятное и не слишком усыпляющее.

Молодец Потапов – куда взлетел! Правда, говорят, падать оттуда долго и неприятно, но ведь можно заранее парашютик приготовить. Чтоб особо сильно не удариться...

Сидорин пришел в свою бывшую школу раньше всех и долго курил за углом, на котором по-прежнему было выцарапано сердце и написано: «Ай лав ю». Наверное, за пятнадцать лет школа пережила десяток ремонтов, а слова были все те же, и сердца все те же.

Все то же, во все времена...

Обычно Владимир Сидорин не был склонен к сантиментам, но раз в пятнадцать лет вполне можно позволить себе побыть сентиментальным. Он курил за углом, морщился от вони дешевого табака и смотрел, как в школу собирались выпускники.

Старые друзья, как было написано в приглашении.

Какие, твою мать, друзья!.. Придумали тоже – друзья!..

У него в классе был один-единственный друг, Пашка Зайцев, но он очень быстро погиб – выбросился из окна своей

квартиры на двенадцатом этаже. Бедный, глупый Пашка. Так никто и не узнал, в чем было дело – то ли несчастная любовь какой-то невиданной силы, то ли просто внезапно у него поехала крыша. Наркотиков он отродясь не употреблял и пить не пил так, чтоб уж очень... И не стало у Вовки Сидорина друга Пашки.

Надо же, он почти его забыл, а тогда казалось – никогда не забудет.

Сигарета еле слышно шипела в пальцах, дождь, что ли, на нее попадал или просто табак такой, совсем дерьмовый? В пачке болтались еще три или четыре сигареты, а новую он купить позабыл. Как он дотянет до вечера на трех сигаретах?

Владимир исправно приходил на все «встречи друзей», каждый раз, когда активистки из школьного комитета присылали ему приглашение. За пятнадцать лет он встречался с бывшими одноклассниками раз шесть, наверное. Никто, кроме Сидорина, так усердно эти собрания не посещал. Он бы тоже не стал, если б не она.

Дина.

Каждый раз он давал себе слово, что не пойдет. Он не станет больше караулить ее. Хватит. За все это время он и увидел-то ее только один раз – на десятилетии выпуска. Все были на десятилетии, и она была. Сказочно красивая, блестящая, необыкновенная женщина. Куда ему до нее!

Она тогда мило поздоровалась с ним, и они даже поболтали немного.

Помнишь, как у Потапова рюкзак пропал? Нет, не рюкзак, а какой-то чехол с ракеткой, что ли? А как отмывали от побелки биологичкин кабинет? Огромные жесткие, как будто картонные, тряпки из мешковины невозможно было отжать, они только развозили по полу грязную воду, оставляя за собой мутные белые следы, и Дина, оценив их работу, сказала тогда: «Ну просто декоративное мытье по полу!» Ему это так показалось смешно, и умно, и точно! Все, что она говорила, было для него потрясающим и незабываемым.

К тому времени, когда они встретились на десятилетия выпуска, у нее уже был сын, и с мужем она развелась.

А ты? Как ты? Дети? Жена? Работа?

У него не было ни детей, ни жены, зато очень много работы. Он окончил медицинский институт и пытался делать карьеру, а потому работал с утра до ночи. Ему хотелось быть если не таким, как она, то хотя бы как-то приблизиться к ней, стать пусть не выдающимся, но заметным, сделать что-нибудь такое, значительное, что хоть чуть-чуть могло бы их уравнивать.

Карьера с первого раза не получилась, и он потерял к ней интерес. Остыл. Замерз. С Диной они больше не встречались, и стараться ему было не для кого. Для себя стараться было неинтересно.

Где-то там, в серой однообразной будничной маете он встретил Нину и зачем-то женился на ней. Она была славная, спокойная. Он относился к ней довольно хорошо, а она

никогда не предъявляла к нему никаких требований. Потом родилась Машка, и Сидорину пришлось найти вторую работу. Он почти не бывал дома, очень уставал и просто жил как живется.

Потому что в его жизни не было и не могло быть Дины, которая придавала бы ей смысл.

Он с тоской посмотрел на окурок, швырнул его в лужу и вытащил следующую сигарету.

Зря он приперся сюда раньше всех и караулит за углом с надписью «Ай лав ю». Она не приедет. А если приедет, то вряд ли узнает в худосочном, невзрачном, бедно одетом человеке бывшего комсорга Владимира Сидорина, а он не посмеет к ней подойти. Да и зачем ему подходить? Он хотел просто посмотреть на нее. Пусть издалека. Посмотреть и продолжать жить так, как он жил все эти годы, – трудно, буднично, неинтересно.

К школьной ограде осторожно причалил черный «Мерседес», и Сидорин понял, что это приехал Потапов. Знаменитый, всесильный, высокопоставленный Потапов.

Вон как все повернулось.

Он, Владимир Сидорин, умница, отличник, лидер, организатор, душа коллектива, смолит дешевые сигаретки, пряча бычок в рукав от дождя, а Потапов, незаметная, серая личность, отличавшаяся только пристрастием к английскому языку, не торопясь вынимает себя из «Мерседеса» и шествует к крыльцу, и охранник у плеча придает всему его виду

солидность и значительность.

Какие такие способности были у Потапова, каких не было у Сидорина и из-за которых тот стал тем, чем стал? Вот ведь загадка!

Сидорин проводил Потапова глазами и чуть было не пропустил ее. Она все-таки приехала.

У нее была какая-то иностранная машина. Не такая длинная и шикарная, как у Потапова, но все-таки вполне длинная и достаточно шикарная. И она не вынесла себя из нее, а выскочила легко и грациозно, небрежно сунув под мышку крошечный ридикюль. У его жены никогда не было такого ридикюля. В основном она носила черные дерматиновые сумки, которые только прикидывались кожаными, с нелепыми фигурными застежками, которые тоже чем-то там прикидывались. Еще у Дины были тоненькие, очень женственные каблучки, подчеркивавшие совершенство длинных ног, и распахнутая короткая норковая шубка, вовсе не казавшаяся неуместной в середине марта, и Сидорину показалось, что даже за своим углом он слышит запах ее духов – ненавязчивый, элегантный, и дешевая сигаретная вонь сразу стала оскорбительной.

Владимир швырнул сигарету в лужу и пошел за Диной, как будто под гипнозом. На школьном невысоком крылечке его сильно толкнула какая-то девица, он оступился на скользкой плитке, чуть не упал и потерял Дину из виду. Дверь перед ним захлопнулась безнадежно, как райские вра-

та перед грешником.

– Прошу прощения, – задыхаясь, пробормотала толкнувшая его девица, – скользко ужасно!

Сидорин взгляделся в темноту и понял, что это Маруся Суркова.

Вот кто совсем не изменился, понял Сидорин, пока она ахала и охала из-за того, что толкнула его, и продолжала извиняться, и зачем-то поцеловала в щеку, и пыталась рассмотреть его в диком синем свете уличного школьного фонаря.

Все такая же – как будто вечно чем-то смущенная, доброжелательная без меры, вечная отличница, которая на физкультуре не умела ни побежать, ни подпрыгнуть и на дискотеки приходила в славном клетчатом платице с бантом на шее, когда все давно уже носили джинсы и ультрамодные в те времена только-только появившиеся в Москве кроссовки «Адидас».

Сидорину не хотелось сидеть весь вечер рядом с Марусей, но он отлично понимал, что этим все кончится, если он войдет в вестибюль сразу следом за ней, поэтому он остался на крылечке покурить и снова пережить тот момент, когда отвернулся от Потапова и увидел, как Дина выходит из своей машины, вытягивает тонкую руку и ждет, когда машина подмигнет ей фарами, закрываясь.

В душном актовом зале он увидел ее сразу – она, как всегда, была на самом виду, и кто-то из бывших одноклассников уже разговаривал с нею. Сидорина всегда удивляло, как

это обычные люди могут так просто и так свободно разговаривать с ней, как будто она тоже самая обычная. Сидорин никогда не умел так с ней разговаривать.

Он сел довольно далеко – так, чтобы самому не попадаться на глаза, но все-таки видеть ее. Женька Первушин поздоровался с ним со снисходительным дружелюбием, и Сидорин кивнул в ответ. Первушин даже помедлил немного, словно соображая, стоит подойти или не стоит, и не подошел. Когда-то они приятельствовали и даже вдвоем сперли потаповский мешок с ракеткой, а теперь Женька вышел в какие-то дипломатические работники. До Потапова ему далеко, конечно, так же, как самому Сидорину далеко до Женьки. Тот он и не подошел.

С этой минуты Сидорину захотелось курить и хотелось все нестерпимей до самого конца торжественной части.

На банкет – как называлась в пригласительном билете выпивка с закуской, на которую он даже сдал деньги, выцарапав их из семейного бюджета, – он не собирался оставаться. Он ни с кем не хотел общаться и был совершенно уверен, что Дина на «банкет» тоже не останется. Это было совсем не в ее духе. Он хотел дожидаться ее отъезда и потихоньку уйти, но, пока он выбирался из ряда неудобных стульев, которые хлопали складными сиденьями и цепляли за брюки, у дверей уже собралась толпа, и Дина, за которой он следил весь вечер, куда-то пропала из поля его зрения.

Он стал оглядываться по сторонам, как собака, внезапно

потерявшая хозяина посреди людной улицы, но найти ее никак не мог, и тут вдруг кто-то тронул его за рукав.

Он оглянулся, недовольный тем, что ему мешают, и увидел... ее.

– Привет, Володя, – сказала она весело, – такая толпа, что я не знаю, как выбраться. Ты меня проводишь?

Игорю Никоненко было тоскливо. С самого утра он писал отчет. К обеду от писанины он совершенно обалдел, а когда взглянул на плоды трудов своих, понял, что не сделал и половины. До завтра все равно не успеть. Самым логичным в этом случае ему показалось бросить этот гребанный отчет и поиграть на компьютере.

Ну и что? Все играют, и он тоже хочет поиграть. И хрен с ним, с отчетом.

Только-только супермен, сжимавший в мужественных ручищах вороненый бластер, добрался до третьего уровня, только-только замочил десяток каких-то гадов, которые караулили его за поворотом, только подобрал с цементного пола пульсирующее красное сердце, что означало еще одну жизнь, только сообразил своей тупоумной суперменской башкой, в какую сторону ему надлежит двигаться, как Игоря вызвало начальство.

От неожиданности капитан Никоненко не успел даже сохранить свои успехи в компьютерной памяти и всю дорогу в кабинет к начальству жалел об этом.

Едва переступив порог кабинета, он позвоночником почувствовал, что надвигается шторм с элементами цунами и тайфуна, вернее, уже надвинулся вплотную, можно сказать, накрыл с головой. Начальство устраивало сотрудникам прачистку мозгов.

Как говаривала незабываемая Донна Роза: «У меня сегодня большая стирка. Мне нужно намылить голову своему управляющему».

На этот раз начальство мылило головы сотрудникам изобретательно и с огоньком. Долго мылило. Тщательно. Старалось изо всех сил. Не иначе ему самому, начальству то есть, с утра тоже хорошенько намылили башку.

Игоря не слишком заботило неудовольствие шефа, потому что он был новый сотрудник. Как выразился тот же шеф, месяц назад принимая его на работу, «молодой».

«Молодой сотрудник» Никоненко в «органах» проработал уже десять лет и вновь оказался молодым потому, что из райотдела в Сафонове его перевели в Москву, в Главное управление. Повысили то есть. В подмосковном Сафонове Игорь Никоненко родился и вырос, прожил там все свои тридцать четыре года, ушел оттуда в армию, каждый день ездил в Москву в университет, когда из нее вернулся, и там же работал, когда окончил университет.

Теперь он снова ездил – час туда и час обратно, если без «пробок», – потому что его повысили. Предложили престижную работу. Признали его сыщицкий талант и почти де-

сятилетний опыт. И теперь он снова стал «молодым сотрудником». Хорошо хоть не вечно молодой, как дедушка Ленин.

Начальство с упоением изобличало подчиненных во всех мыслимых и немыслимых смертных грехах, а капитан Николенко рисовал в блокноте своего давешнего супермена. Рисовать он не умел, поэтому супермен выходил малость кособоким. Руки у него были длиннее, чем нужно, а ноги, наоборот, слишком короткими, отчего супермен очень напоминал гориллу. Игорь ничего не имел против гориллы, поэтому переделал супермена в гориллу, и рисунок стал совсем ни на что не похож. В смертных грехах, за которые начальство сейчас снимало со всех стружку, Игорь не мог быть повинен, поскольку это были давнишние грехи, и к нему они отношения не имели, но так как все что-то старательно записывали – вот поглядеть бы, что именно! – он тоже делал вид, что записывает.

Может, у них так принято. Так сказать, элемент корпоративной этики. Он пока не слишком в этом разбирался.

Промывание мозгов продолжалось довольно долго и окончилось уже под вечер, когда засинели длинные мартовские сумерки и окна в противоположном крыле стали один за одним загораться желтым учрежденческим светом.

– Что-то сегодня особенно смачно, – высказался Сергей Морозов, когда наконец все вышли из полковничьего кабинета и с облегчением закурили, отчего в коридоре сразу повисло сизое облако, – видать, директива какая-то пришла.

– Может, просто настроение такое, – предположил Игорь. – Или у него это под настроение не бывает?

– Под настроение тоже бывает, – согласился Сергей, – но когда под настроение, то все же не так... Поспокойнее.

– Да какая еще директива! – вмешался Слава Дятлов, с которым Игорь делил кабинет. – Директива все время одна и та же – хреново работаем. Вон хоть кино посмотри! Кто самые большие придурки? Менты! Кто самые оголтелые взяточники? Менты! Сейчас очередного журналиста уколошат по пьяни или из-за бабы, кто будет виноват? Опять менты!

– Это смотря в каком кино, Слава, – сказал Никоненко, рассматривая свою сигарету. Такие разговоры он не любил. – В некоторых фильмах менты очень даже героические. Их в основном по НТВ показывают. Тех, которые героические.

Дятлов переглянулся с Морозовым, как будто Игорь сказал бог знает какую глупость.

Пока еще он не был для них «своим», поскольку из района перешел к ним совсем недавно, и им нравилось играть в столичных профессионалов, утомленных серостью деревенского мальчонки, выпрыгнувшего из болота прямо на самый верх.

«Верх» от «низа» почти ничем не отличался, кроме жалкого полтинника, добавленного к зарплате, постоянных взбучек нервного начальства, которое тоже существовало под постоянной угрозой взбучек от начальства более высокого, и лишнего часа, потраченного на дорогу от Сафонова

до громадного серого здания в самом центре Москвы, в котором и располагалось «райское место», предмет гордости столичных профессионалов, вроде Дятлова с Морозовым.

Впрочем, что это он к ним прицепился? Через месяц они забудут о том, что Игорь Никоненко когда-то был «чужой». С кем-то из них он сработается легко и просто, с кем-то не сработается вовсе, и водку они станут пить, и врать друг другу о своих победах, и прикрывать друг другу спины при какой-нибудь, боже сохрани, стрельбе, и когда через год или два в их отделе появится еще какой-нибудь пришелец из района, Игорь Никоненко тоже будет смотреть на него насмешливо и малость свысока.

Закон жизни.

Оставив Дятлова с Морозовым обсуждать свои и чужие проблемы, Игорь вернулся в свой кабинет и первое, о чем тут же вспомнил, был отчет, который он так и не закончил. Кто их выдумал, эти отчеты?! В чем он должен отчитываться, если пока еще ничего не сделал?!

Когда зазвонил телефон, Игорь, подперев рукой щеку, уныло смотрел на тоненькую пластиковую папку, в которой помещался его будущий отчет, и мечтал поехать домой. Интересно, что будет, если он уйдет сегодня пораньше?

– Слушаю, Никоненко, – деловито сказал он в трубку, обрадовавшись возможности еще потянуть с отчетом. Из трубки так заорали, что ему пришлось слегка отодвинуть ее от уха. Он отодвинул и попытался понять, что именно там про-

исходит.

– Паш, – спросил он, наконец сообразив, – Паш, это ты, что ли?

Звонил его друг Павлик Степанов, воротила строительно-го бизнеса, которого он год назад вызволил из передраги.

Игорь тогда еще работал в Сафонове и имел дело со всякой мелочью, вроде сдернутых шапок, разбитых автомобильных стекол и супружеских потасовок, когда на стройплощадке у Павлика убили человека. А потом еще одного.

Игорь тогда долго валандался с этим делом и в конце концов все понял, нашел убийцу, и выманил его, и приобрел друга, который теперь орал в трубку так, как будто началась война.

– Паш, ты говори спокойнее, – попросил Никоненко, так ничего и не поняв из бизоньего ора, – а не вопи.

Друг Паша, строительный магнат, человек сдержанный, солидный, состоятельный, ответственный и уравновешенный, окончательно утратил всякий контроль над собой.

Сколько можно повторять?! У него сил больше нет! Девочка! Родилась девочка! Слышишь, капитан, твою мать?! Она родилась полчаса назад, и ему сразу дали ее в руки!!! Он держал ее в руках! Свою девочку! Она такая... такая... маленькая такая, и на Ингу похожа ужасно, и у нее волосы, ногти, пальчики – все есть!!! И ее дали ему в руки! И он ее держал! Они рожали десять часов... твою мать! Он думал, что это никогда не кончится. Он думал, что все умрут. Все

живы, у них девочка, ее дали ему подержать, и она красавица, и у нее все есть, и она похожа на его жену! Слышишь, капитан?! Они спят сейчас, и он просто вышел из палаты, чтобы позвонить. Он должен был позвонить! Все началось ночью, и вот теперь у него девочка! Ему видно, как они спят. Через стекло.

– Паш, ты домой-то доедешь? – спросил Никоненко, едва-едва выдавив из себя поздравления. Почему-то ему стало так завидно, что он не знал, что именно следует сказать. – Или, может, заехать за тобой?

Заезжать было не нужно, Паша вызвал из офиса водителя с машиной. Он может прислать водителя и за ним, Игорем, чтобы они могли отметить рождение дочери. Чернов уже приезжал, прямо в больницу, но его не пустили. Еще бы его пустили! Не он же отец!

На этом месте строительный магнат совершенно неожиданно зашелся идиотским смехом, и Никоненко со вздохом подумал, что он и в самом деле малость не в себе. Впрочем, Игорь не знал, как должны вести себя мужики, у которых полчаса назад появился ребенок. Вполне возможно, что они и должны быть не в себе, даже скорее всего.

– А с кем у тебя Иван? – спросил он, когда идиотский смех магната перешел в глупое хихиканье.

Иваном звали сына Павла Степанова. Ему недавно исполнилось десять, и до появления в их жизни Ингеборги, которая полчаса назад родила, они кое-как тянули лямку вдвоем

с Павлом. Этого Никоненко не застал – он познакомился с Пашей в период его тяжелой влюбленности в Ингеборгу. Все тогда было сложно – в убийствах на Пашиной стройке оказалась замешана его бывшая жена и его собственный зам, Паша метался, не зная, что предпринять, Иван страдал от одиночества и заброшенности, а Ингеборга была его учительницей в школе. Паша нанял ее, чтобы она лето посидела с его сыном, и... полчасика назад она родила дочку, которую Паше сразу же дали поддержать.

– Иван-то с кем? – повторил Никоненко, так и не дождавшись внятного ответа.

Иван дома, с родителями Ингеборги, которые прилетели, чтобы присутствовать при таком важном семейном событии. Они тоже приезжали в больницу, и их тоже пока не пустили.

Опасаясь, что Павлик вот-вот снова впадет в эйфорию, Никоненко быстро перевел разговор на предстоящие торжественные мероприятия.

– А мы что, пить сегодня будем?

– А когда же?!

– Ты же всю ночь не спал, какой из тебя отмечальщик?!

– Да ладно тебе, капитан! Что ты понимаешь?! Вот когда у тебя жена родит, тогда погляжу я на тебя!..

– У меня нет жены, – с раздражением ответил Никоненко, – и не присылай за мной никакого водителя. Я свою машину возле управления не брошу. Во сколько приезжать-то?

Пока Павлик в трубке мучительно пытался сообразить, о

чем именно его спрашивают, Игоря Никоненко срочно вызвали на происшествие.

– Да хуже всего не то, что стрельба, а то, что там этот Потапов... Ну да, конечно! Сейчас ФСБ явится, не станут же они... Да мы здесь уже... Ну, конечно, тот самый... Слушаюсь! Сразу же перезвоню! Как договорились! Есть!

Полковник сунул в карман мобильную трубку – не столько средство связи, сколько некий знак того, что «мы теперь тоже не лыком шиты», – и оглядел свою группу.

Группа была немногочисленна и печальна.

Рабочий день был давно закончен, и, соответственно, им предстоял рабочий вечер и, скорее всего, еще и рабочая ночь, а может, и не одна. Искать стрелка нужно по горячим следам, и если не найдут – пиши пропало.

Покушение на жизнь федерального министра и члена правительства – это вам не пьяная драка с поножовщиной на коммунальной кухне и не вокзальные разборки бомжей. Полковник по телефону уже и ФСБ помянул, чтоб им пусто было! Два ведомства не слишком ладили и старались просто так не путаться друг у друга под ногами. Помнится, еще Мюллер с Шелленбергом, родоначальники этой традиции, старательно делали вид, что им наплевать друг на друга, и неспроста.

Ни полковнику, ни оперативникам не согревала душу мысль о том, что теперь придется землю рыть, на коленях по асфальту ползать, ночами не спать, двести человек допро-

силь, запугать, разговорить, втереться в доверие, заставить вспомнить что-то невспоминаемое, все сопоставить, проанализировать, оценить, свести воедино и разложить по полочкам – и все ради того, чтобы «федералы», не дай бог, не опередили их или – хуже того! – не прикарманили славу, если до нее дело дойдет. А если не дойдет, если очередной «ви-сяк» – быть беде.

Премьеру доложат сегодня, утром – президенту. Президент, как водится, возьмет дело под особый контроль, то есть устроит выволочку Генеральному прокурору и министру внутренних дел. Министр завтра же потребует материалы дела и предварительный отчет. По всем телевизионным каналам через час пройдет информация о покушении – машины НТВ и Первого канала приехали сразу следом за милицией. Откуда только они все узнают раньше всех, эти проклятые журналисты?!

Твою мать!

Не будет никаких выходных на оттаявшей мартовской дачке, и субботнего ленивого утра тоже, и в зоопарк с детьми опять пойдет жена, и грянет скандал, у кого грандиозный, у кого привычно унылый – в зависимости от степени истощения терпения родных, – и снова по две пачки сигарет в день, и промывание мозгов, и отвратительное чувство собственного бессилия и тупоумия, и неловкость перед задерганным начальством, и свет новых звездочек на погонах погаснет в районе Туманности Андромеды...

Понесло этого Потапова с друзьями встречаться! Сидел бы у себя в Рублеве-Успенском, чего лучше! И, главное, безопасно там...

– Ну что? – неприязненно спросил полковник в пространство. – Все ясно или объяснения нужны?

– Не нужны, товарищ полковник, – четко выговорил Морозов, – разрешите приступить?

– Приступайте, – разрешил полковник, – только сначала кто-нибудь изложите мысли. Есть у кого-нибудь мысли?

Тут Дятлов с Морозовым как по команде повернули головы и посмотрели на Никоненко, очевидно считая, что излагать мысли следует именно ему.

Это было очень неблагоприятное занятие – на пустом месте излагать начальству какие-то соображения, и Игорева коллеги это отлично понимали. Ничего умного на ходу не придумаешь, обязательно скажешь какую-нибудь глупость, которую начальство потом будет еще год поминать, и мусолить, и приводить в пример остальным, как нельзя работать.

Никоненко вздохнул. Полковник усмехнулся.

Ему было сорок два года, он проработал в «органах» всю свою жизнь, и ему казалось, что он старше своих подчиненных лет на триста. Он все понимал, видел их насквозь и, как мог, сочувствовал им.

«Интересно, – подумал он неожиданно, – а мне генерал сочувствует?»

– Я думаю, – заунывно начал Никоненко, – что стрелок

пришел на место происшествия заранее. Нужно попытаться установить, может, он был и на вечере. Просто так, для маскировки. Вряд ли здесь у всех проверяли приглашения.

– Скорее всего, никаких приглашений ни у кого и не было, – буркнул полковник и выдохнул струю сигаретного дыма. – Дальше.

– Дальше... все просто. Когда все стали выходить на улицу, стрелок оказался в центре толпы и, увидев Потапова, выстрелил.

– И промахнулся, – подсказал полковник.

Никоненко посмотрел на него, пытаясь определить, что именно он имеет в виду.

Ну да. Промахнулся. А разве стрелок не может промахнуться? В конце концов, убийца тоже человек.

– Я слушаю, – подбодрил его начальник.

– Он выстрелил, промахнулся, люди рванули в разные стороны, и он спокойно ушел с места стрельбы вместе с толпой. Оружие, скорее всего, найдем в кустах, вряд ли он его с собой унес!

– Вы думаете, действовал профессионал? – уточнил начальник и снова выпустил струю дыма. Никоненко вновь проводил ее глазами.

Зачем он таращится на этот дым?! Или полковник специально его отвлекает?

– Нет, – сказал Игорь. На этот вопрос ответить было просто. Он уже задавал его себе и сам на него ответил. – Я уве-

рен, что не профессионал, товарищ полковник.

– Почему?

– Во-первых, он стрелял почти в темноте. Этот фонарь – одна фикция, видимость света. Во-вторых, он стрелял практически на глазах у охраны, а у большинства из охранников отличная память. Естественно, им сейчас несладко придется, все же они стрелка проворонили, но я думаю, что они вспомнят много чего интересного и полезного. Профессионалу полагается об этом знать. Вряд ли это смертник-камикадзе, которому все равно, что с ним будет дальше. Ну а в третьих... Нет, это как раз во-первых, Олег Петрович, – он ведь промахнулся, правда?

– Вы думаете, что профессионал не промахнулся бы?

– На то он и профессионал, – туманно ответил Никоненко.

– Не знаю, – сказал полковник задумчиво, – нужно думать... Кстати, в Склифосовского звонили? Жива она еще?

– Пока жива, – подтвердил Слава Дятлов, – без сознания, конечно, но жива. Никакой более подробной информации пока нет. По-моему, еще операция не закончилась.

– Допросить бы ее по горячим следам, – мечтательно сказал полковник, как будто собирался пригласить пострадавшую на свидание, – может, она и видела чего. Кстати, кто ей «Скорую» вызывал, установили?

– Никто не вызывал, – быстро проинформировал Дятлов, – ее этот самый Потапов на своей машине в Склиф отвез.

– Надо же!.. – искренне удивился полковник. – И не побоялся, что весь салон кровищей изгадит!.. Молодец.

Они вовсе не были беспредельно циничны. Просто у них работа такая.

Дерьмо, а не работа.

– Ладно, приступаем, – приказал полковник неожиданно сердито, – через пятнадцать минут генерал явится, а мы даже место происшествия не осмотрели! Все по местам, ну!.. В учительской как будто какие-то свидетели сидят. Действуй, Игорь Владимирович, и я потом подключусь. – Впервые полковник назвал Никоненко на «ты». – Дятлов, Морозов, за вами ствол, может, он его и вправду в кусты кинул, и место происшествия. И чтоб все углы обнюхать – на тот случай, если он в школу не заходил, а на улице караулил.

– Да в такой темноте... – начал было Морозов, но поймал полковничий взгляд и быстро закрыл рот.

– И в темпе! – добавил полковник резко, – чтобы успели до федералов! А то они нам ничего не оставят. Это, надеюсь, все понимают?

Все это понимали.

Понесло Потапова, черт бы его побрал, на школьную вечеринку! Вот и расхлебывай теперь! И еще неизвестно, расхлебаешь или нет...

По пологой каменной лестничке с липкими от дешевой краски и множества рук голубыми перильцами Игорь Никоненко поднялся на второй этаж, в актовый зал, где и проис-

ходила эта злосчастная «встреча друзей». Там все было брошено так, как будто в середине торжественной части неожиданно объявили воздушную тревогу. Стулья были сдвинуты к стенам, так что некогда ровные ряды их казались развороченными экскаватором. Какие-то бумажки валялись на полу, синий – «дневной» – свет ртутным отблеском лежал на графине со снятой пробкой, на канцелярских столах «президиума», на шаткой стойке с торчащей микрофонной головой, на желтом фанерном ящичке, примостившемся у края сцены.

Ящичек Никоненко заинтересовал, и, пробираясь между стульями, он двинулся к сцене, хоть и видел краем глаза, что из приоткрытой двери – надо полагать, в учительскую – кто-то наблюдает за ним с истовым и жадным любопытством.

Потерпите, решил про себя Никоненко. Ничего с вами не будет.

К ящичку был приклеен лист бумаги, на котором он прочел напечатанные на компьютере поэтические строки:

В этот радостный вечер,
Когда мы празднуем встречу,
Хотим назад оглянуться
И к детству вновь прикоснуться!

Дальше было написано помельче и в прозе: «Напиши записку тому, кто нравится, и брось в ящик. Не забудь фамилию и имя. Записка обязательно дойдет до адресата!»

В ящичке была прорезь на манер урны для голосования. Игорь приподнял ящик и потряс. Совершенно неожиданно оказалось, что записок там полно – бумага шуршала весьма многозначительно. Интересно, он как-то открывается или придется ломать?

Он сунул ящик под мышку и, не оборачиваясь, громко спросил:

– Скажите, пожалуйста, в школе есть топор?

За его спиной некоторое время молчали, а потом невнятный голос переспросил довольно робко:

– Топор?

– Да, – подтвердил Никоненко и обернулся с ящиком под мышкой, – топор. Есть?

Из двери выглянула седая голова с кудельками по бокам и на макушке.

– А вы... кто? – спросила голова жалобно. – Милиция?

– Милиция, – согласился Никоненко. – А вы кто? Дирекция?

Кудельки дрогнули, и показалась их обладательница. Капитан Никоненко увидел ее – синий костюм, розовую блузку с нейлоновыми фестонами, тяжелые неудобные коричневые туфли и ужас в старческих жалобных глазах – и сразу понял, что можно было и не спрашивать. Все было и так ясно.

– Директор школы, – у нее был такой тон, как будто Никоненко уже объявил о том, что сию минуту отправляет ее в СИЗО, в Бутырку. – Вы просили... топор?

Никоненко был профессионалом, поэтому никого и никогда не жалел. Не жалел, даже если очень хотелось пожалеть. Зато он отлично умел изобразить сочувствие – в своих целях.

– Мне нужно открыть эту штуку, – и капитан потряс ящик с записками, – или он просто так открывается, без топора?

Это был нормальный вопрос нормального человека, и директриса моментально воспрянула духом, решив, что, может, все еще обойдется, и в СИЗО ее не отправят.

– Боже мой, конечно, открывается, – с облегчением заговорила она, – это Тамара придумала, конечно, это можно открыть без всякого... Где Тамара? Девочки, где Тамара? Товарищу из милиции нужно открыть ящик!..

За приоткрытой дверью учительской произошло какое-то движение, очевидно, искали Тамару, не нашли и перепугались пуще прежнего.

– Да она курит! Ну, конечно! Она минут десять назад покурить пошла! А где она курит-то? Вроде на лестнице!..

– Она на лестнице курит, – поспешно озвучили еще раз информацию кудельки, – мы ее сейчас крикнем...

– Не надо, – сказал Никоненко добродушно, – пусть уж докуривает спокойно.

Он только что шел по лестнице и знал совершенно точно, что на ней никто не курил. Он даже специально спустился на один пролет, к пожарному выходу. Дверь на улицу была заперта, и заперта... абсолютно безнадежно. Давно. Всегда.

Следовательно, Тамара курит вовсе не на лестнице. И что это за сигарета такая, которую нужно курить столько времени?

– Давайте-ка мы с вами пока без Тамары поговорим, – душевно проговорил Никоненко и двинулся в сторону директрисы, – поговорим и по домам пойдем, время позднее, всем домой пора...

Игорю Никоненко было лет двенадцать, когда, изнывая от летней каникулярной скуки, он увидел по телевизору фильм про «деревенского детектива» Федора Ивановича Анискина. Фильм был старенький, совсем не страшный, следовательно, для мальчишки неподходящий. Да и сам Анискин нисколько не тянул на Алена Делона из рафинированного французского боевика, но Игорь полюбил его всей душой и был страшно разочарован, узнав, что Анискин вовсе никакой не Анискин, что его играет актер по имени Михаил Жаров и все это – просто кино.

Не то чтобы он пошел в милицию из-за Федора Ивановича Анискина, но иногда ему казалось, что вся его работа – продолжение игры в «деревенского детектива». Играл он с удовольствием, не обращая внимания на насмешливое недоумение коллег, и знал, что задушевный тон, смешные словечки и вся повадка простака и «деревенщины» действуют в сто раз лучше, чем профессиональная сухость.

– Давайте-ка мы с вами сядем, – продолжил Никоненко, выбрав свой самый «деревенский» тон, – ну хоть вот здесь,

на стульчиках, и поговорим. Садитесь, садитесь, небось намаялись за день! День-то у вас какой был!.. Конец света просто!.. Вас как зовут?

– Мария Георгиевна, – призналась приободрившаяся директориса. Назад, в приоткрытую дверь учительской она больше не заглядывала, моментально поверив, что милиционер этот – друг, а не враг. – Меня зовут Мария Георгиевна Зыкина, я директор. В этой школе работаю сорок лет, и первый раз такой... такой ужас...

Меньше всего Игорю нужны были ее слезы.

– Время сейчас трудное, – как бы пояснил он с сочувствием, – то и дело стреляют, убивают, даже нам трудно привыкнуть, а уж вам-то... Тем более у вас выпускники такие знаменитые, вроде этого самого Потапова! Придется мне своего сына в вашу школу определить, чтобы вы из него тоже министра сделали, может, я на старости лет хоть поживу как человек.

Никакого сына у Игоря Никоненко не было, и в школу определять ему было некого, но Мария Георгиевна Зыкина, выведенная из страшного болота на привычную твердую почву, кажется, с трудом удержалась, чтобы не перекреститься.

– Конечно, конечно! Приводите, мы с удовольствием возьмем вашего мальчика! А сколько ему?

– Вы такие вечера каждый год устраиваете? – спросил Никоненко, воздержавшись отвечать на вопрос о возрасте маль-

чика. – Больно мороки много...

– Мороки много, – согласилась директриса, – а что делаешь? Традиция! Выпускники любят такие встречи, это ведь воспоминание о детстве, юности, первой любви... Вы ведь, наверное, тоже приходите в свою школу?

Игорь с жаром согласился, что, конечно, приходит и там немедленно начинает вспоминать о детстве, юности и первой любви, хотя в своей школе он ни разу после выпускного бала не был, а из романтических воспоминаний у него сохранилось почему-то только одно – о том, как он в первый раз напился портвейном «777» и какая после этого случилась драка с 8-м «Б». Их тогда чуть всех из родной школы не выперли, но как-то обошлось.

– Вы всех выпускников приглашаете?

– Стараемся приглашать всех. Ну, кого удастся найти, конечно. Некоторые переезжают, меняют фамилии. Вот Тамарочка, например, уже дважды замужем побывала.

– И каждый раз брала новую фамилию? – спросил Николенко с неподдельным интересом.

– Ну да. Она была Борина, потом стала Уварова, а теперь она Селезнева. Она у нас главный помощник по таким мероприятиям. Активистка. Без нее мы бы не справились. Она и адреса ищет, и приглашения рассылает, и все...

Про приглашения стоило поговорить отдельно. Это было уже «горячо», как говорили у них в управлении.

– Вы только по приглашениям пускаете?

– Да нет, что вы! Мы же всех помним! Вы не поверите, но я всегда узнаю ребят, которые у меня учились. Вот на улице встречаемся, и я... узнаю. Даже если пятнадцать лет прошло. У нас это профессиональное, как в милиции. То есть у вас.

– Зачем же тогда приглашения? – удивился Никоненко.

– Мы в приглашениях всегда пишем, сколько денег нужно сдать на банкет, – стыдливо призналась директриса, – просто так сказать неловко как-то, а в билете все написано....

Ну конечно. Сказать неловко. Деньги вообще тема неловкая, особенно для российского человека. Российский человек о деньгах думать не должен. Его не должен занимать вопрос, чем заплатили за водку и бутерброды с ветчиной, в широком ассортименте представленные на школьном банкете.

– Впрочем, тех, кто не сдает, мы все равно пускаем, – продолжила директриса и трубно высморкалась в клетчатый носовой платок, в несколько заходов выуженный из кармана, – у всех ведь разные жизненные обстоятельства, вы понимаете....

Про разные жизненные обстоятельства Игорь все понимал хорошо. Месяц назад у него сломалась машина. Сломалась как-то на редкость подло, так что за ее ремонт пришлось выложить чуть не триста баксов – почти все, что удалось накопить за все время службы «верой и правдой».

– Вы обязательно поговорите с Тamarочкой! По правде говоря, она все знает лучше меня. Это ее выпуск, и она этим вечером занималась очень много! Столько сил, и такая ужас-

ная история...

Кудельки снова задрожали, и старческая, искривленная артритом рука судорожно сжала клетчатый мужской платок.

– Да будет вам, – вступил в разговор «Федор Иванович Анискин», – мы во всем разберемся. Вы-то ни в чем не виноваты! У вас же школа, а не режимное предприятие с охраной и контрольно-следовой полосой!

Директриса усердно закивала, изо всех сил соглашаясь, что у нее школа, а не режимное предприятие.

– И ящик с записками Тамара придумала? – уточнил Анискин-Никоненко.

– Ну конечно! Ведь это так интересно – получить записочку от старого друга или... подруги. Это что-то вроде игры. А что? Вам не нравится?

– А почему их не раздали, эти записки?

– Я... не знаю, – испуганно сказала директриса и, вытянув щуплую шею, осторожно заглянула Никоненко за спину, как будто проверяя, на месте ли ящик, – это у Тамары надо спросить. Может, она забыла или забегалась и не успела...

– Конечно, спросим, – согласился капитан, – а вот... Потапов Дмитрий, как его по батюшке?

– Дмитрий Юрьевич Потапов, – старательно выговорила директриса, – наша гордость. Единственный из наших выпускников, кто достиг больших успехов на таком сложном поприще, как государственная служба, и мы очень благодарны Дмитрию Юрьевичу за то, что он сегодня приехал.

Она говорила с таким энтузиазмом и так складно, что Никоненко быстро глянул по сторонам – не видно ли где поблизости самого Дмитрия Юрьевича. Но поблизости никого не было, только чуть-чуть шевелилась, как от сквозняка, оконная створка.

– Он приехал к началу вечера или попозже? – Эта створка почему-то заинтересовала Игоря, но посмотрел он не на нее, а на противоположную стену, где была одна-единственная дверь с надписью «Для девочек».

– Перед самым началом. Никто и не ждал. Его, конечно, пригласили, но мы были уверены, что Дмитрий Юрьевич не придет. Он же очень занятой человек...

Ни разу она не сбилась с «Дмитрия Юрьевича» на «Диму» или просто на «Потапова», хотя вряд ли он был «Дмитрий Юрьевич», когда числился в ее учениках.

– ... нам и в его приемной сказали, что приглашение он получил, но точно еще не знает, поедет или нет. Даже сегодня утром Тamarочка звонила, и ей ответили, что Дмитрий Юрьевич никаких распоряжений не давал и вряд ли придет...

Никоненко насторожился, и «Федор Иванович Анискин» исчез, подмигнув ему на прощанье лукавым глазом.

– А с кем она разговаривала в его приемной?

– Ох, я точно не знаю. Вы бы у нее спросили... Она лучше меня расскажет. С его секретарем, наверное. А потом он так неожиданно приехал – с охраной даже, и на «Мерседе-

се», и сразу позвонили из администрации, а потом и префект подъехал... – От страшных воспоминаний о префекте голос у нее стал совсем тоскливый, и Никоненко понял, что ничего от нее не добьется. Весь вечер она так старательно боялась префекта и «самого Потапова Дмитрия Юрьевича», что вряд ли заметила хоть что-нибудь из того, что происходило на школьном вечере, а Игорь Никоненко внезапно стал подозревать, что происходило что-то очень интересное. Именно на вечере, а не после него.

И створка окна шевелилась красноречиво.

Со стороны лестницы послышались шаги, гулко отдававшиеся в пустом актовом зале, Никоненко оглянулся, и директориса воскликнула с облегчением:

– Вот и Тамара! Тамара, вот... товарищ из милиции хотел с тобой поговорить про записки.

– И еще про Потапова, – добродушно добавил Игорь, поднимаясь с неудобного, цепляющего за брюки стула.

Ему нужна была секунда, чтобы подумать. Эта самая неизвестная Тамара появилась вовсе не с той стороны, с которой должна была появиться, и это было странно. Так странно, что он даже не сразу взглянул на нее, пытаясь объяснить себе это ее появление.

– Я покурить выбежала, – объяснила Тамара жалобным контральто, – от всех этих дел я чуть в обморок не упала, честное слово!.. А вы как, Мария Георгиевна? Получше? – И, повернувшись к Никоненко могучим бюстом, пояснила: –

Мне даже пришлось Марии Георгиевне валокордин накапать, она так переживала. И все остальные... переживали. Ужас какой!

У нее были черные горячие глаза, круглые и любопытные, никак не соответствовавшие общему внушительному облику, и она совсем не казалась испуганной. Ей любопытно, определил Никоненко. Любопытно и не страшно. Жалобное контральто – для него и для директрисы.

– А как вас зовут? – спросила Тамара, обливая его горячим взглядом быстрых сорочьих глаз. – Меня зовут Тамара Селезнева. Раньше я была Уварова, а еще раньше Борина.

Вопрос был задан тоном девчонки, которая только что приехала в пионерлагерь и многого ожидает от предстоящего лета. Игорь смотрел на нее во все глаза.

– Меня зовут Никоненко Игорь Владимирович. Я из уголовного розыска.

– Ты расскажи про записки, Тamarочка, – распорядилась директриса, у которой многолетняя привычка командовать взяла верх над страхом перед милиционером, – про записки и про то, как ты Дмитрия Юрьевича приглашала.

В одну секунду Тамара из лихой пионерки превратилась в добропорядочную активистку школьной самодеятельности, повернулась к Никоненко и вздохнула глубоко, как бы готовясь выложить как можно больше ценных сведений, но вновь появившийся вместо Никоненко Федор Иванович Анискин, деревенский детектив, ее перебил.

– А что там на улице? – спросил он самым задушевным тоном. – Все еще дождь?

– На улице? – переспросила сбитая с толку активистка. – На улице... да, дождь.

– Люблю дождь, – объявил «Анискин», – после весеннего дождя все в рост пойдет. Хорошо!

Директриса и активистка переглянулись с недоумением, но недоумение у них было разное – у директрисы жалобное и неуверенное, а у Тамары бойкое и, пожалуй, веселое.

Э, милый, да ты совсем дурачок, вот как переводилось ее недоумение.

Ну что ж, решил Никоненко, для начала неплохо.

– А вы с Потаповым в одном классе учились? – продолжил «Анискин», понизив голос на слове «Потапов».

– В одном, – согласилась Тамара, – только он тогда совсем не такой интересный был. Все английский учил и какие-то книжки читал. Мы на него и внимания почти не обращали. Он в нашу компанию не вписывался. Он такой... ботаник, знаете?.. У нас их таких двое было – он и Маруська Суркова, – тут Тамара слегка хихикнула, и Игорь Никоненко внезапно понял, что в десятом классе она была неотразимой, и всякие «ботаники» ее совершенно не интересовали. – Мы ее звали «моль бледная». Ой, господи, – она там в больнице кровью истекает, а я...

– С кем вы договаривались о приезде Потапова? С секретарем или помощником?

– Сначала с секретаршей, а потом с помощником, – охотно объяснила Тамара, – секретарша сказала, что приглашение он получил, но никто не знает, поедет он или нет, и до последнего дня никто этого не знал, а сегодня мне сказали, что он не приедет. – Она вдруг остановилась и вперила в Игоря свои угольные глазищи: – Господи, неужели это было только сегодня?

– Как же не приедет? – спросил Анискин-Никоненко с чистосердечным изумлением. – Ведь он же приехал!

– А говорили, что не приедет! Что у него в программе на сегодня такого мероприятия нет! Да мы уже и не рассчитывали, а он взял и приехал! А тут такое!.. Кошмар, да?

– Кошмар, – согласился Никоненко. – Мария Георгиевна, вы пройдите пока в учительскую, вон сквозняк какой, мы вас совсем простудим. А я пока окошко прикрою...

– А когда можно будет... домой? – спросила директриса и посмотрела почему-то на Тамару, как будто это она должна была отпустить ее домой.

– Скоро, – пообещал Никоненко, – уже скоро. А вы присядьте, Тamarочка. Ничего не поделаешь, придется вам со мной поговорить, без вас не разберусь.

– Конечно! – воскликнула Тамара с энтузиазмом. – Конечно, сколько хотите!

По правде говоря, он не хотел нисколько. Больше всего на свете он хотел, чтобы в Москве вообще не существовало этой растреклятой школы, и «самого Потапова», и про-

махнувшегося стрелка. Сидел бы сейчас Игорь Никоненко в квартире у дорогого друга Павлика, пил бы французский коньяк с лимоном, заедал бы чем-нибудь вкусным и в сто первый раз выслушивал блаженные Павликовы завывания о том, как у него сегодня родилась девочка и ему сразу дали ее подержать.

От этих мыслей в его животе вдруг стало как-то особенно пусто, а на душе тоскливо.

Что-то он разыгрался в «деревенского детектива». Не ко времени. Сейчас пожалуют «федералы», и цена всем его играм станет – грош.

– Ящик с письмами – чья идея? – спросил капитан Никоненко, и тон его нисколько не напоминал тон Федора Ивановича Анискина.

– Это... моя, кажется. А что? Что-то не так? Я подумала, что это будет здорово и всем понравится – вдруг кто-нибудь в любви признается или еще что...

– Что?

– Ничего, – вдруг смутилась Тамара, – просто... интересно.

– Интересно, – согласился Никоненко, – только почему вы эти интересные записки так и не раздали?

– Не раздали? – переспросила она растерянно. – Ах, не раздали.... Вы знаете, приехал Потапов, и все пошло совсем не так, как мы думали. Потом еще из префектуры приехали, и мы с Марией Георгиевной встречали, а потом я еще отдель-

ный стол накрывала, вдруг Потапов решил бы закусить или префект, они же не могут со всеми.... И про почту я забыла.

– Почему? – спросил Никоненко.

– Что?

– Почему они не могут со всеми?

– Кто?

– Потапов с префектом?

– Ну-у, – протянула Тамара, – такие люди – и со всеми!..

Да уж. Вопрос был глуп. Неизвестно, зачем он его задал. Просто так. От злости на себя, на Потапова и на Анискина Федора Ивановича.

– Что-нибудь на вечере показалось вам подозрительным? Может, кто-то опоздал или, наоборот, пришел раньше всех, потом раньше всех ушел? Или выходил во время торжественной части?

– Не знаю, – растерянно сказала Тамара Селезнева, – никто не выходил. То есть, может, и выходил, но я ничего такого не видела. Я... занята была очень. Я так разволновалась, когда Потапов приехал. А он оказался такой симпатичный, такой приятный. Он мне сказал: «Я Митя Потапов, мы с Кузей на литературе за вами сидели». Они и вправду за нами сидели, – и Тамара засмеялась с удовольствием, – а я сидела с Маруськой – молю. Господи, да что ж я опять, когда она там...

– Кто такой Кузя?

– Кузя – это Вадик Кузьмин, он сейчас в Мурманске слу-

жит, на подводной лодке, и поэтому не приехал.

– Куда вы ходили курить?

Тамара посмотрела на него с изумлением. Этот прием часто ему удавался – с разгону человек неподготовленный выпаливал правду, даже если поначалу говорить ее и не собирался.

– Когда ходила?

– Вы только что вернулись и сказали, что ходили курить. Где именно вы курили?

– На лестнице, – пробормотала Тамара.

– На лестнице вас не было, – сказал Никоненко жестко, – я смотрел. Из здания вы выйти не могли. Где вы были?

– Я курила на лестнице, – торопливо объяснила она, пугаясь его тона, – только не на этой! На этой курить нельзя, это же школа! Я на той, на черной, которая еще с войны осталась. Мы когда учились, там все учителя курили, а мы их выслеживали.

– Где вход на эту лестницу, покажите!

Тамара рванулась исполнять приказание с таким рвением, что Никоненко пришлось сначала ускорить шаг, а потом перейти на легкую трусцу. Топая, Тамара сбежала по лестнице, повернула направо, в темноту, с преувеличенной заботой предупредила, что «здесь ступеньки», еще раз повернула. Из сплошной черноты коридора вдруг словно вывалилась квадратная дыра – окно, залитое лунным мартовским светом.

– Сейчас будет дверь, дергайте!

Пошарив руками по холодной и пыльной поверхности, выкрашенной масляной краской, Никоненко нащупал ручку, дернул и чуть не повалился назад – дверь открылась неожиданно легко, как будто открывалась часто.

– Вот здесь я и курила, – объявила сзади Тамара.

– Свет где зажигается?

– Справа. Ведите рукой по стене и найдете.

Свет зажегся высоко и слабо, как в бомбоубежище. Осветилась узкая замусоренная лестничка, унылые стены, забитое досками окно на площадке. В углу верхней ступеньки стояла жестяная банка из-под маслин – очевидно, пепельница. Никоненко сначала в банку заглянул, потом осторожно поднял ее двумя пальцами, что-то внимательно порассматривал внутри.

– Вы здесь курили? – спросил он, и эхо от его голоса разнеслось и отразилось от пыльных неживых стен.

– Здесь, – робко призналась снизу Тамара, – здесь все курят. И Александр Андрейч, и Виктор Василич, и все.

– Наверху что за дверь? – Банку он решил прихватить с собой, хотя и представлял себе, какое веселье охватит Дятлова с Морозовым, когда они увидят его «вещественные доказательства».

– Не знаю, – отрапортовала Тамара, – я до верха никогда не поднималась.

– Возвращайтесь в учительскую, я сейчас подойду.

Хлопнула дверь, протопали и затихли шаги послушной и

исполнительной Тамары. Игорь поднялся еще на один пролет, внимательно глядя себе под ноги. На верхней площадке его охватило веселье, какое, наверное, охватывает собаку, которая наконец поняла, что от нее требуется, и сделала все правильно.

Толстая серая пыль была притоптана, и притоптана совсем недавно — следы были свежие, отчетливые и их было много.

Как она сказала? «Я до верха никогда не поднималась»? Кто же тогда поднимался?

По самому краю площадки, вытирая плечами пыльные стены, Игорь подобрался к двери и осторожно потянул. Эта дверь, как и нижняя, открылась легко, но сейчас он был к этому готов. Даже петли не скрипнули. Приблизительно он представлял, где именно сейчас окажется, и скромно порадовался за себя, увидев белый сортирный кафель на стенах и матовый шарик-лампочку под потолком. Он прошагал помещенице насквозь и закрыл за собой дверь с надписью «Для девочек».

Это действительно был странный вечер, и странности начались задолго до выстрела, по случайности уложившего «бледную моль», одноклассницу огненной Тамары и знаменитого Потапова, Марусю Суркову.

Грехи наши тяжкие, жалостливо подумал про себя Нико-ненко. Ящик с записками под мышкой надоел ему ужасно, а теперь к ящику еще добавилась ароматная жестяная банка

с окурками.

– Подождите меня, пожалуйста, – строго сказал он Тамаре, которая мялась на пороге учительской и вытаращила глаза при его эффектном появлении из двери «Для девочек».

Он сбежал по лестнице в вестибюль и нос к носу столкнулся с полковником.

– Что это у тебя?

– Сам еще не знаю, – ответил Никоненко, – может, пригодится, а может, и нет.

Полковник посмотрел на жестяную банку с окурками и сказал хмуро:

– Приехали «федералы». Так что давай, закругляйся побыстрому.

Никоненко хотелось еще раз заглянуть в коридор-аппендикс, из которого был выход на черную лестницу. Почему-то Тамара, когда вела его, так и не зажгла в коридоре свет. Его очень интересовало, почему она его не зажгла. Свои драгоценные «вещественные доказательства» он решил на минуточку пристроить под лавочкой, рассудив, что вряд ли конкуренты первым делом кинутся на фанерный ящик и вонючую самодельную пепельницу. Он наклонился, заталкивая ящик, и вдруг увидел под лавкой сумку. Коричневую нейлоновую сумку в неаппетитных пятнах. В таких сумках пенсионерки носят с рынка картошку или морковь, ни для чего более благородного они не предназначены. Сейчас из нее свешивались жухлые перья магазинного зеленого лука.

Забыл кто-то из выпускников, решил Никоненко. Кто-то, кто так и не вышел в министры и кому не подают к подъезду личный «Мерседес».

Игорь отщипнул луковое перо и пожевал. Жевать лук было противно.

Черт с ней, пусть будет еще и сумка. Ящик, консервная банка и сумка с луком, пропади оно все пропадом.

Еще ему нужно проверить свет.

Свет в коридоре не зажигался. Игорь несколько раз дернул вверх-вниз язычок допотопного выключателя.

На верхней площадке черной лестницы притоптана пыль, как будто несколько раз кто-то спускался и поднимался или просто долго топтался там.

Что там происходило? И когда? Имеет это отношение к выстрелу или не имеет? Кто поднимался туда и зачем? Кто наблюдал за ним сегодня из-за двери «Для девочек»? Активистка Тамара или кто-то еще? Что это за странный, как будто бумажный, пепел в жестяной консервной банке? Что именно в ней жгли?

И еще один – самый главный! – вопрос.

В кого все-таки стрелял незадачливый снайпер?

Сидеть в коридоре было холодно и незачем.

Пожилой уса́тый врач уже давным-давно предложил им выметаться. Кажется, они его раздражали.

– Нечего здесь сидеть, нечего! – крикнул он на них и вы-

катил глаза. — Завтра приходите, завтра!

Но каждый раз, когда Алина делала попытку подняться, Федор хватал ее за руку и тянул книзу.

— Давай посидим, — просил он почему-то шепотом, — еще немножко, а потом поедем.

Они просидели так почти половину ночи. Желтый свет сверлил мозг, нестерпимо воняло дезинфекцией, лекарствами и страхом. Воняли стены, линолеум, дерматиновые кушетки, даже желтый свет вонял. Алине очень хотелось закурить. Сухой сигаретный запах хоть на время разогнал бы эту вонь, но для того, чтобы закурить, надо было выйти, а она не решалась оставить Федора одного на дерматиновой кушетке. Он никуда идти не соглашался.

Что происходит за белой двустворчатой дверью с надписью «Операционная», они не знали. Только в американских фильмах «усталые, но довольные» врачи выходят к замученным родственникам и объявляют им, что «опасность миновала».

К Алине с Федором никто не выходил, только сердитый врач несколько раз кричал на них, пробегая мимо, чтобы уходили, но они продолжали сидеть, крепко взявшись за руки и не глядя друг на друга. Почему-то они не могли смотреть друг на друга.

Поначалу в кармане у Алины то и дело звонил мобильный телефон, а потом перестал, как будто понял, что отвечать она все равно не станет. Лучше бы отвечала. Его бодрые

трели были из той, нормальной жизни, в которой она собирала Марусю на «встречу друзей» и старательно сооружала ей необыкновенную прическу.

И Федор – боже мой! – Федор, который видел, как в двух шагах от него Маруся вдруг остановилась, даже вроде шагнула назад и начала валиться на бок, и радостная улыбка медленно, по капле стекла с ее лица, и оно перестало быть живым!..

Что они станут делать, если сейчас из-за этой белой двери вывезут мертвую Марусю, и сердитый врач закричит им, что сделать ничего было нельзя и чтобы они убирались, убирались вон!.. Почему она не остановила Марусю, почему не легла поперек дороги, почему позволила туда идти?! Что теперь будет с Федором? Он должен остаться с ней, Алиной! Она ни за что не отдаст его ни Марусиной матери, ни в детдом!.. Если его придут забирать в детдом, она забаррикадирует дверь, и будет отстреливаться до последнего патрона, и ее убьют, и Федор останется совсем один...

– Алин, ты чего? – забормотал он совсем рядом, и от его бормотанья она вдруг очнулась. – Ты чего, Алин? Ты пока подожди, не плачь, может, все еще будет хорошо, а? Или ты думаешь, что не будет?

Она обняла теплую круглую башку, прижалась лицом к заросшей мягкими волосами макушке, услышала сопение – и ей стало стыдно.

– Я не плачу, – сказала она виновато, – я не плачу, Федор.

Просто я очень устала. А мама поправится. Это верный признак – раз нас не выгоняют, значит, идет операция, а раз идет операция, значит, еще не все потеряно!

– Что-то уж очень долго она идет, – Федор высвободился и посмотрел на Алину. Личико у него было серенькое и очень детское. – Или ничего?

– Ничего, – уверила его она, чувствуя, как в животе все съеживается и мертвеет, будто от кислоты, – так и должно быть. Это всегда долго.

И тут поверх Федоровой макушки она увидела милиционера. То, что это именно милиционер, а не врач и не больничный служащий или охранник, она поняла сразу. Он был в джинсах и куртке и выглядел совершенно обыкновенно, и все-таки с первого взгляда было понятно, что это милиционер. У него был самоуверенный и утомленный вид, и за этот утомленный вид Алина его возненавидела еще до того, как он успел дойти до кушетки, на которой они сидели, обнявшись и прижавшись друг к другу.

– Добрый вечер, – неторопливо сказал он, подойдя, – хотя уже не вечер.

Он задрал рукав куртки, посмотрел на часы, а потом на Алину с Федором. И покачал головой.

– Уже не вечер и даже не ночь. Доброе утро!

– Доброе утро, – отозвался вежливый Федор.

– Это у вас доброе утро, – прошипела Алина, – а мы, как видите, сидим у двери в операционную. У нас нет никакого

доброго утра.

– У нас тоже нет никакого доброго утра. Мы всю ночь работали. Я просто не знаю, как поздороваться по-другому.

– Вы вполне можете совсем с нами не здороваться. Мы не обидимся.

Он усмехнулся довольно холодно.

– Капитан Никоненко Игорь Владимирович, – он выудил из внутреннего кармана удостоверение, на которое Алина даже не взглянула. Что ей удостоверение, когда у него лицо вместо удостоверения!

– Теперь вы должны спросить: «Ну что наша пострадавшая?», – проговорила она, язвительно и неотрывно глядя ему в лицо. – Или вы уже догадались спросить об этом у врача?

Никоненко трудно было вывести из себя, но этой мымре в узеньких злых очочках ничего не было об этом известно.

– У врача я спросил, конечно, – ответил он устало и пристроился на кушетку рядом с мальчишкой, – но мне сказали, что операция еще идет.

– Идет, – согласилась Алина, – поэтому допрашивать некого. Придется вам своими силами убийцу искать. Впрочем, зачем вам искать? Вы ведь можете и не искать!

– Не можем, – вздохнул Никоненко, прикидывая, не разбудить ли ему Федора Ивановича Анискина, – мы не искать не можем. Покушение на министра – шутка ли!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.